

Вечная весна

“Вечная весна в одиночной камере”.

Припев Егора Летова подходит как эпитафия Валентину Катаеву, одиночке, сквозь двадцатый век пронесшему постоянную память о камере смертников и называвшему свою жизнь “погоней за вечной весной”...

В 60-м в Париже гадалка-турчанка (сказавшая и про осколочную рану бедра, и про будущую операцию, и про награждение Золотой Звездой) воскликнула:

— Что же вы меня не предупредили? Это же необыкновенный человек. Это — Царь!

“Царь, разумеется, по их терминологии”, — добавляла Эстер, снижая пафос.

Влюбленное повеление жизнью...

Наследник великой литературы. В Катаеве всегда было сочетание власти и легкомыслия, как у человека, по его признанию, с самого начала понимавшего, что он особенный.

Он написал, что “прожил свою жизнь в счастливом дыму”.

Оглянувшись на петли длинной дороги, спросим себя: в счастливом ли?

Жадильный младший дым горестного отплевания матери, чад военных пожаров, зеленовато-желтый туман газовой атаки, дымчатые тифозные видения, бронепоезда и пароходы в угольном дыму, пороховой дым расстрелов, дым кирпичной трубы Магнитки и вересковой сталинской трубки, операционный мираж, пестрый дым литпроцесса с пламенными выпадами критика Дымщица...

Ничто с самого детства и до самого конца не могло заслонить его необычайно зоркий и, конечно, вопреки трагизму — радостно-детский взгляд.

У Катаева была глубокая душа. И таинственная.

Свою тайну он унес с собой.

Обостренно одинокий, закрытый, скрывавший важную часть себя даже от близких, он заглушал страдания бравадой, буффонадой, попойками, показной беспечностью. Но и настоящей литературой.

Поэтому все же дым счастливый.

Жизнь воспринималась им как произведение, а значит, и принималась.

Катаев — весь вызов. Он весь — слишком. Художник-маг, которому завидуют и сейчас, и чей дар не могут оспорить. Баснословно успешный, но не через карьерные интриги, а благодаря дару.

В силу этого редкого дара, он был сам по себе, свободный от групп, стоек, общественного мнения.

Спасатель судеб. Устроитель литературы, которая без него была бы другой. Бескорыстно открывавший и опекавший таланты.

Русский человек. Потомок славных родов. Герой войны. До конца дней сохранявший офицерский государственный инстинкт.

Оболганный. Да, так. Слева и справа бормочут нелепые небылицы и однообразные байки, пытаясь представить большим грешником, чем остальные...

Он был грешен, но в отличие от очень многих не разыгрывал святошу.

Отрицание Катаева — унылая стаинность, которая передается во времени.

Наслаждение Катаевым — вечная весна.

Его род

Он всю жизнь писал о себе, располагая подробности биографии, персонажей детства и юности и своей родословной по многим текстам, в том числе сюжетно-приключенческим. У него слишком много отсылок к пережитому, тем труднее отделить достоверность от сочинённого. Кто его родители, его предки? Какого он роду-племени — одесит, до конца жизни сохранивший характерное произношение? “Во мне странным образом соединилось южное и северное, вятское и скулянское, военное и духовное”...

О Катаевых удалось выяснить немало. Они были выходцами из Новгорода, по преданию происходили от ушкуйников — “вольных людей”, на быстрых лодках-ушкуях добравшихся в далёкую Вятскую землю, “под Камень”, как в старину называли Урал. По всей видимости, предки Катаева знали русских святых — преподобного Трифона Вятского, основавшего Успенский монастырь в Хльнове (Вятке), и блаженного Прокопия. Они, как и дедушка писателя, отец Василий, погребены в этом монастыре.

Первое упоминание в архивах относится к 1615 году: Ондрышка Мамонтов сын Катаев. Так что первый установленный предок нашего героя — Мамонт из XVI века. Существование фамилии в столь раннюю эпоху — редкость на Руси, но в Новгороде и Вятке это было делом нередким. Имя Мамонт не имеет отношения к доисторическому зверю, а принадлежит святому мученику Маманту (Маме), погибшему во время гонений на христиан в III веке.

Прямая мужская линия Валентина Петровича напоминает библейскую праведную родословную. Андрей Мамонтович — “посадский человек” в городе Шестакове (превратившемся при Екатерине в село). Его сын Матфей стал иереем в тамошней Благовещенской церкви, родоначальником священнической династии Катаевых. Далее — священник Алексей. Затем — свя-

пение Иоанн, у которого в браке с Февронией родился Карп. Он тоже стал священником, а после смерти своей матушки Марфы принял постриг, сделавшись иеромонахом Мелхиседеком, игуменом Спасского монастыря в городе Орлове. У его сына, священника Иосифа в браке с Евфимией родился Иоанн, тоже ставший священником. От его брака с Еленой родился священник Алексей.

Этот иерей Алексей в конце XVIII века спустился вниз по реке Вятке в город Слободской, где стал служить в центре города в Преображенском соборе. Там и умер “от апоплексического удара” в алтаре “за благовестом к литургии”. Его сын, тоже Алексей, служил, как и он, в Преображенском соборе. За свое пастырское окормление ополченцев, отправлявшихся на войну с Наполеоном, получил бронзовый наперсный крест. Интересно, что в 1831-м с его бани на город перекинулся большой пожар, уничтоживший множество домов. Достоянна внимания и линия его матушки Екатерины: её дед — слободской протоиерей Тимофей, отец — иерей Иоанн Лесников, также обладатель бронзового креста за 1812-й год (разбитый параличом в алтаре, он умер на следующий день, в Рождество Христово).

У отца Алексея Катаева было семеро детей. Старший и младший, учась в Вятской духовной семинарии, взяли, как тогда случалось, другую фамилию — Кедровы. Старший протоиерей Александр при этой фамилии остался, и отсюда пошёл духовный род Кедровых с архиереями и новомучениками; младший — протоиерей Василий — вернул себе фамилию Катаев.

А поскольку был он дедушкой писателя, то эта книга могла бы стать жизнеописанием Валентина Петровича Кедрова.

Отец Василий родился 6 января 1820 года на праздник Крещения Господня. Был ближайшим помощником вятского Владыки Аполлоса (Беляева). Он женился на жительнице Слободского Павле Павловне Мышкиной, также происходившей из священнического рода (и, между прочим, родственнице братьев-художников Виктора и Аполлинария Васнецовых). Отец Василий обучался в Вятской духовной семинарии, потом в Московской духовной академии, стал инспектором Вятского духовного училища, затем смотрителем Глазовского духовного училища, протоиереем Ижевского оружейного завода. Он был награжден наперсным крестом на орденской ленте за вдохновение глазовских дружин на Севастопольскую кампанию.

Мальчишками Валя Катаев со своим двоюродным братом Сашей, вспоминал писатель в 88 лет, “надевали на шею кресты предков, воображая себя героями-священниками, идущими в бой вместе со славным русским воинством”. Потому что “уже с детства были готовы сражаться за родину”.

В начале 60-х отец Василий с Павлой Павловной и детьми переехал в Вятку, где служил в Свято-Троицком кафедральном соборе. Он умер 6 марта 1871 года.

Писатель рассказывал житийную историю: дед его шёл через замёрзшую реку Вятку с последним причастием, провалился под лёд, спас дарохранильницу, но вымок в ледяной воде по грудь. И всё же добрался до умирающего, исповедал и причастил, чтобы вернуться к себе тоже умирающим, почти без сознания — “гнилая горячка”. Возможно, он умер от костного туберкулёза — известно, что вятские лекари врачевали ему коленную чашечку калёным железом.

Известный миссионер и проповедник, протоиерей Стефан Кашменский над его гробом произнёс проповедь, опубликованную тогда же “по желанию читателей покойного” в “Вятских епархиальных ведомостях”: “Всюду прилагал он труды к трудам... Он облечён был особым доверием в среде священнослужителей... Усопший брат наш очищал себя долговременными предсмертными страданиями... Было время, когда почивший являлся к болящим и умирающим... Словом и делом помогал нуждающимся...”

У отца Василия было семеро детей (четыре умерли маленькими). Все три его сына учились в Вятской духовной семинарии, но священниками не стали. Старший, Николай, отправился в Московскую духовную академию,

* Даты до февраля 1918 года приведены по юлианскому календарю (старому стилю).

вторую и закончил, и перешел в Одессу — преподавателем семинарии. Следом за ним, прихватив с собой мать, в Одессу перебрались братья. Тепло, дешево, море... Николай Васильевич стал статским советником. Получил пять орденов — Станислава и Анны 3-й и 2-й степени и Владимира 4-й. Женился на швейцарке Иде Обри из города Вёве франкоязычного кантона Во, гувернантке, с которой познакомился в Крыму. Она сохраняла евангелически-реформатское вероисповедание 14 лет после брака и, родив уже четверых, через миропомазание была присоединена к Православной Церкви. По-русски её стали звать Зинаида Иммануиловна. Всего детей у них было шестеро.

Младший сын протоиерея Василия Михаил окончил физико-математический факультет императорского Новороссийского университета. Валентин Петрович утверждал, что он был выдающимся математиком. Он поступил на военную службу в 15-ю артиллерийскую бригаду в Санкт-Петербурге. И душевно заболел...

Средний сын, Пётр Катаев, родился 28 мая 1856 года в Глазове. После Вятской семинарии поступил в Новороссийский университет на историческое отделение историко-филологического факультета, которое окончил с серебряной медалью за работу “О византийском влиянии на народное искусство Новороссии”, стал преподавателем одесских учебных заведений (женского епархиального и юнкерского училищ). Он достиг чина надворного советника и трижды награждался орденами за беспорочную службу.

В 1886 году 30-летний Пётр женился на 19-летней Евгении Бачей.

Итак, о предках Валентина Петровича со стороны матери...

Прапрадед писателя Алексей Бачей — полтавский дворянин, казак, полковник Запорожской Сечи. Этот сечевик, по предположению Катаева, возможно, был даже гетманом.

В 1783 году родился Елисей Бачей — прадед. Помещик, владелец имения в местечке Скуляны, на берегу реки Прут в Бессарабской губернии на границе с Румынией, Елисей участвовал в турецкой кампании и войне 1812 года, дослужился до капитана. “По взятии Гамбурга от французов”, он слёг с ранениями и, помещённый для лечения в бюргерскую квартиру занятого города, женился на юной сиделке, дочери пастора Крегера по имени Марихен, которая и стала прабабушкой писателя. На лошадах она отправилась с мужем в далёкую Бессарабию, где, приняв Православие, превратилась в Марию Ивановну.

У них были две дочки и три сына: младший, Иван, дед Валентина Петровича, родился 25 мая 1835 года. Умер Елисей Бачей в 1848 году в шестьдесят пять лет от холеры.

Иван Бачей поступил в гимназию в Одессе, где уже жили два его брата. Шестнадцатилетним юношей он отправился на военную службу, в восемнадцать во время Крымской войны сражался на Кавказе, быстро стал офицером, а в отставку вышел в чине генерал-майора. (Интересно, что прадед и дед Катаева юношами устремлялись на войну так же, как потом и он сам). Годами перемещаясь по всему Кавказу, Иван воевал с горцами. Бился и с турками. Он был кавалером нескольких почётных орденов.

В его послужном списке красноречиво сообщается о “стычках и перестрелках”, например, “при рубке леса и устройстве моста через лиман”, “при истреблении горских запасов сена”, “при нападении пластунов на горский пикет близ лагеря”, “при истреблении пластунами одного небольшого горского аула”, “при отбитии горцами нашего табуна у станицы Сторожевой”, “при нападении партии горцев в 600 человек на сотню казаков Волосинской бригады, высланную в разъезд из станицы Зеленчукской”.

24 апреля 1860 года в Мелитопольском уезде Таврической губернии он обвенчался с Марией Егоровной Шевелёвой, дочерью коллежского асессора. У них родилось девять дочерей, две умерли маленькими. И ни одного наследника!

Евгения, пятая, будущая мать писателя, появилась на свет в Одессе 26 ноября 1867 года. Она была талантливой пианисткой (после окончания епархиального училища поступила в училище музыкальное, впоследствии — в Одесскую консерваторию).

С Петром Катаевым её обвенчали в полковой лагерной церкви в Ново-московске Екатеринославской губернии, где Иван Бачей тогда командовал полком.

Детей долго не было...

Валя и родители

Валя родился в Одессе 16 января 1897 года.

У него было две макушки — примета везения! — словно бы две жизни, холмики долголетия. (А ещё, как считается в народе, отличительный признак пройдохи.) У его лирического героя — сквозь всю прозу — тоже две макушки. Сколько раз Катаев бывал на краю гибели! Каждый раз, вспоминая об очередной недовершенной беде, он благодарил эти “волосяные водоворотики”. В своих книгах он, кажется, только и делал, что ощупывал их, — так часто ему чудесно везло.

Одесса была четвёртым по численности населения городом в Российской империи после Петербурга, Москвы и Варшавы. Она торговала со всем Черноморским побережьем и Средиземноморьем. Пёстрая, шумная, многоязычная: библиотеки, читальни, театры, рестораны, обилие журналов и газет, постоянные гастролёры, знаменитый университет. Это был один из первых городов страны, где появились электричество, телефон, трамвай, автомобили, аэропланы.

“Папа часто играл с мамой на рояле в четыре руки... Я постоянно жил в атмосфере искусства. Мама читала мне стихи, придумывала для меня сказки, рисовала в тетрадке разные предметы и зверей, сочиняла к ним весёлые пояснения. Ей хотелось расширить мой детский кругозор... Папа хорошо знал и любил русскую классическую литературу”. В доме пели романсы, народные песни...

“С малых лет отец привил мне вкус к русским классикам... Я помню, как мой отец, блестя выступившими у него на глазах слезами восхищения, читал нам, мне и маме, пушкинскую “Полтаву” с её нечеловечески прекрасной украинской ночью и как они вместе под керосиновой лампой хохотали и нежно улыбались над раскрытым Гоголем”...

Отец был суховато-строг, но порой вспыльчив. Разгневавшись, с силой тряс сына за плечи, что тот потом не раз припоминал.

Законспектированные фразы с катаевского вечера 72-го года дают почувствовать больше любых обстоятельных разъяснений: “О родителях. Мама — полтавская девушка. Пушкин, Гоголь. Мама юмористична (отец — меньше)”.

Мама в воспоминаниях Вали была всегда лёгкая, праздничная, смягчающая отца (“Недаром его имя было Пётр, что значит камень”). Он запомнил её женственной, грациозной, светской — дамой в высокой шляпе с орлиным пером, в вуали с чёрными мушками... “Мама называла папу на французский лад Пьером; я думаю, этот “Пьер” пошёл у них от “Войны и мира”, книги, которая в нашей семье считалась священной”.

Отец и мать, камень и вода, в сознании Вали дополняли друг друга. Он успел застать и прочувствовать полноту семьи и навсегда воспринял время начального детства как сказочное. В этом начальном времени смерти не было и быть не могло. “Мама раздевает меня и укладывает в постельку, и, сладко засыпая, всем своим существом я чувствую всемогущество моей дорогой, любимой мамочки-волшебницы”.

Вале было шесть, когда мама умерла от плеврита. На 2-м христианском кладбище Одессы сохранилось её надгробие с финальной датой 28 марта 1903 года. Ей было тридцать пять. 30 ноября 1902-го она родила второго сына Женю.

Перед её кончиной Валя видел сон, который сам называл вещим. Ему приснился большой ящик — внутри сидели мама и его двоюродная сестра Лёля. Они возились в ящике, пытаясь выбраться, и мешали друг другу.

(Ольга-Лея, дочь Николая Васильевича Катаева, родилась 10 июня 1886-го и, прожив 18 лет, умерла 11 февраля 1905-го, как сказано в её свидетельстве о смерти, от туберкулёза лёгких.)

Смерть матери нанесла Вале страшную пожизненную травму.

Он снова и снова вспоминал, как она простудилась во время прогулки с ним ранней коварной весной (и ощущал свою вину!), как заболела, как задышалась и пылала, как таскали её ночью кислородные подушки. “Маме сделали одиннадцать глубоких хирургических проколов, но гнойника так и не нашли, с тех пор слово “одиннадцать” до сих пор имеет для меня зловещий смысл...” Она лежала с закрытыми глазами, а он с надеждой спрашивал отца: “Нельзя ли её оживить?” Всю свою жизнь и уже на её закате Катаев грубо, ярко, метафорично описывал мать в гробу, сравнивая гроб то с коробкой конфет, то с тортом, то покойницу с фарфоровой куклой, словно пытаясь заговорить, вытеснить случившееся, засахарить ту горечь красотой литературы.

По рассказам его жены Эстер он, уже немолодой, иногда запирался в комнате и плакал. “Я вспомнил маму”. “Когда мы вернулись домой, я первый с облегчением взбежал по лестнице на наш второй этаж и стал дёргать за проволоку колокольчика. Я был переполнен впечатлениями последних дней и торопился поделиться ими с мамой.

— Мамочка! — возбуждённо крикнул я, стучась в запёртую дверь ногами. — Мамочка!

Дверь отворилась, и я увидел кормилицу, державшую на руках братика Женечку. Я почувствовал приторный запах пасхальных гиацинтов и вдруг вспомнил, что мама умерла, что её только что похоронили и уже никогда в жизни не будет у меня мамы.

И я, сразу как-то повзрослевший на несколько лет, не торопясь, вошёл в нашу опустевшую квартиру”.

Когда смотришь на фотографию 1910 года с тремя Катаевыми, сердце невольно сжимается. Все трое задумчивые и грустные. В пенсне, с бородой и усами, полный достоинства и некоторой книжной наставительности отец (его принимали за Чехова), к нему прижались два мальчика. Валя — серьёзный, прямой, немного похожий на японского солдата, словно пытается показать свою зрелость; Жёня — мелкий, в матроске, жалобно-трогательный. И приходит одно простое слово: “сиротки”.

Сразу после смерти Евгении на выручку пришла её сестра Елизавета Ивановна, которой было тридцать три. Отказавшись от личной жизни, верная обещанию, данному умиравшей, “тётя Лиля” занялась воспитанием мальчиков и хозяйством и поселилась у них. Аскетичный потомок духовного рода хранил верность покойной. Он поступал, как священник, которому по канонам нельзя жениться вторично.

В доме Катаевых не держали ни капли спиртного. “Отец не пил, не курил, не играл в карты. Он вёл скромную жизнь и, отходя ко сну, долго молился перед иконой с красной лампадкой и пальмовой веткой, заложенной за икону. Смирненно крестясь и кланяясь, и роняя со лба семинарские волосы, он скорее походил не на педагога, а на священника”.

В 1951-м Корней Чуковский записал в дневнике: “Сегодня Валентин Петрович Катаев рассказывал о своём отце: ему тётка в день именин подарила 5 томиков Полонского. И он (В. П.) очень полюбил их. Декламировал для себя “Бэду-проповедника”, “Орёл и змея”. “Тётка”, очевидно, и была Елизавета Ивановна.

Когда мальчики подросли, она, считая “долг исполненным”, уехала в Полтаву к двоюродному брату и стала вести его хозяйство, заменив свою умершую двоюродную сестру. “Тётя Лиля” умерла в Полтаве в 1942 году при немцах.

Семья была небогата, постоянно меняли квартиру, при этом часто сдавали комнату или две.

Валя родился на улице Базарной, 4, совсем близко к Александровскому парку, в трёхэтажном доме. Здесь родился его брат, здесь не стало их мамы.

В 1904-м Катаевы переехали с Базарной на Марзливскую, в дом 54, тогда доходный дом Крыжановского-Аудерского. На этой улице, по преданию, останавливался во время “одесской ссылки” Пушкин. В доме 40 на Марзливской, в 20-м переименованной в Энгельса, располагалось здание ЧК, где нашему герою доведётся ожидать смерти.

Потом переехали на Канатную, с неё — на Уютную, дальше — на Отрадную... В 1912-м Катаевы проживали на улице Успенской. Там располагался Епархиальное женское училище со Свято-Архангело-Михайловским женским монастырем и сиротским приютом. В училище, кроме отца Катаева (он был географом), преподавал и его старший брат Николай Васильевич (а приготовительный класс вела “тётя Лиля”, Пётр Катаев уступил ей и должность делопроизводителя).

Всё семейство Катаевых проживало в сиротском приюте у его заведующего, протоиерея Григория Никифоровича Молдавского, ожидая, когда будет готов дом Общества квартировладельцев на Пироговской улице. Пётр Катаев был в попечительском совете приюта.

В соседнем здании на Успенской улице находилась Стурдзовская община милосердных сестёр — богадельня. Сестры милосердия ухаживали за смертельно заболевшей мамой Вали.

Было время, когда на лето семья обосновалась на пригородном хуторе. Этот сюжет совсем не случайно возник у Катаева в романе “Хуторок в степи” (летом 15-го в “Одесском вестнике” у него вышел цикл “Стихов с хуторка”).

С 1913-го Катаевы проживали в новеньком многокорпусном доме в стиле модерна на Пироговской, 3, в квартире 56 на 4-м этаже.

...Июльское пекло, стеклянный воздух, задыхаясь, читаю табличку на доме: “У цьому будинку з 1996 по 1998 р. мешкав громадський діяч, заступник міського голови Ігор Миколайович Свобода, який був викрадений і загинув від рук найманих убивць”. Свобода, украденная и умерщвленная, летопись девяностых. Перейдя улицу, сворачиваю во двор старого трёхэтажного обшарпанного дома — привет из другой эпохи. Ветхие пояса ажурных балконов. Раздавленные ягоды алычи, развешенное бельё, разлегшиеся рыжая и черная кошки.

Меня оглядывает крупная старуха в мятом выцветшем платье, сидящая на колоде под широким платаном.

— Скажите, а здесь Катаев родился?

— Да вон тут, — она показывает на льдистые тусклые окна. — В моей квартире. А мне шо? Да я в ней полвека живу. Ой, да шо в ней такого? Помню, приходил старичок. Походил, побродил, понюхал. Я внутрь не пустила. Здесь стоял, где вы стоите. Почём знаю, кто такой. Говорит: “Я тут жил”. Потом врде сказали: писатель тут жил. Да он уж помер, когда сказали.

Детство

Отец всё время учительствовал, тётя тоже, вдобавок занималась маленьким Женей. Валя был днями напролёт предоставлен самому себе, слонялся по городу, водился с хулиганской компанией.

В сущности, он с самого детства попадал в “истории”.

Когда ему было не больше двух лет, дотянувшись до плиты, опрокинул на себя казанок с кипящим свиным салом. Каким-то образом всё вылилось мимо головы, на одежду, и одна лишь капля попала на горло, оставив на всю жизнь отметину.

Эксперименты, физические и химические опыты — удовольствие, в котором он не мог себе отказать. Раз, достав из отцовского комода “брикет” пороха, вбежал на кухню, отодвинул кастрюлю с борщом и бросил порох в конфорку. “Сноп разноцветного дымного огня полыхнул из плиты почти до потолка”. А может быть, это был не борщ, а лашша, если судить по стихотворению “Бенгальский огонь”, где шалости мальчика переплетаются с акциями террористов 1905-го:

*К плите. С порохом. Топясь. Не дыша.
— Глядите, глядите, как ухнет! —
И вверх из кастрюль полетела лапша
В дыму погибающей кухни.*

*Но веку шёл пятый, и он перерос
Террор, угрожающий плитам:
Не в кухню щепотку — он в город понёс
Компактный пакет с динамитом.*

Ещё случай: взяв у одноклассника бутылочку с нефтью, он стал нагревать её дома на своей лабораторной спиртовой горелке, раздался “громкий выстрел”, и жирная вонючая жидкость покрыла всё вокруг, включая обои и одеяла.

В этих эпизодах будничным психоаналитик мог бы усмотреть подсознательное желание разрушить окружающий мир и даже самоуничтожиться, но, похоже, здесь было нечто обратное — самоутверждение, упоение своей невинностью на фоне пожаров, перераставшее в любование ими. Пожары воспринимались, как праздничные салюты. Он пробовал реальность на прочность, пытался разъять, но через это хотел постичь её на пике, в экстремуме, спровоцировать на яростные всплески, чтобы восхититься во всей красочной полноте. Ребёнком он возился с огнеопасными элементами, а позднее в своей литературе возился с резким цветом и острыми темами, так утверждая именно жизнелюбие. С каждым благополучно завершившимся “опытом” жизнь все более казалась ему ярким сновидением.

Он был бесцеремонен. На Рождество высыпал на ёлку два фунта нафталина, изображая снег. Резал для “домашних спектаклей” тётины простыни, так что все заканчивалось скандалом...

Он на всю жизнь сохранил дружбу с верным соратником по проделкам Женькой по прозвищу Дубастый, жившим с ним по соседству. Евгений Ермилович Запорожченко, моряк, после революции обитал то в Загребе, то в Ницце, вернулся на родину только после Второй мировой войны (участник французского Сопротивления), бывал у Катаева в Переделкине, с душой встречал его в Одессе...

Несложно предположить автобиографизм рассказа “Весенний звон” (начало 1914-го): “Главнейшее наше занятие — это азартные игры: бумажки, спички, “ушки” и... разбой, потому что по временам нам кажется, что мы разбойники: бьём из рогаток стёкла, дразним местного постового городского Индюком и крадём яблоки в мелочной лавке Каратинского. Разбоем в основном мы занимаемся поздней осенью, почти каждый день, и заключается это занятие в том, что после обеда мы всей ватагой, или, как у нас называется, “гопотой”, идём к морю, лазим по пустым дачам, до тошноты курим дрянные папиросы “Медуза” — три копейки двадцать штук — и усиленно ищем подходящую жертву. От подходящей жертвы требуется, чтобы она была слабее нас и молчала, когда её будут брать в плен и пытаться”.

Возможно, дичь и дурь происходили не от уличного нахальства, а от повышенной нервности (изнанка нежности, а он был и сам от природы неженка, и тосковал по невосполнимой материнской ласке). Он пренебрегал учёбой. Гимназия была ему скучна не просто из-за прелести разбойных ватаг, а и из-за чего-то совсем обратного, одинокого, “несоциального” — лиричности, мечтательности... Это затаённое, то есть собственно художественное, пробудилось в нём очень рано.

Катаев таким и прожил — со слезящимся нежным нутром, запрятым в грубый панцирь. Он был закрытым и при этом любил быть в центре внимания (между прочим, если ты застенчив, но оказываешься в центре, многие психологические сложности снимаются).

Мы не раз столкнёмся с самым разным Катаевым — цинизм напоказ, увлечённое вспоможение людям вплоть до изменения их судеб, авантюризм и трудоспособность, бешеная энергия и любовь к спокойствию.

...Валя помнил себя с самых малых лет.

Года в три мать возила его в Екатеринбург (ныне Днепропетровск) к её родителям. Он видел бабушку Марию Егоровну, “толстую, красивую, как пожилая королева”, и деда Ивана Елисеевича, отставного генерал-майора, “с бакенбардами и костистым покатым лбом царя-освободителя”, подарившего ему игрушечного коня — Лимончика. И навсегда запомнил, как его тормошили, целовали и подбрасывали к потолку бабушка и “все незамужние екатеринославские тётки” с восторженным южным фамильным восклицанием: “Ах, какая прелесть!”

За коричневой ширмой у них в Одессе, переезжая с ними с квартиру на квартиру, жила бабушка Павла Павловна, мать отца. Читая её описание, я сразу узнал свою вятскую бабушку! “У неё было маленькое скуластое лицо с бесцумно жевавшими губами... носик пуговкой. Чем-то она напоминала старую-престарую китайку”. С годами становилась придирчивой, скупой, пыталась следить, кто сколько съел за столом. Мальчиков сменила её “чуждая скороговорка”.

Павла Павловна умерла 2 февраля 1908 года “от старческой немощи”. Какое-то время в их доме жил “дядя Миша”, младший брат отца. Как мы уже упоминали, он тронулся умом в Петербурге. В рапорте начальнику артиллерии 8-го армейского корпуса в апреле 1890 года сообщалось о том, что “признаки расстройств психической деятельности” поручика начались ещё годом ранее, “что заставило его поместить в отделение душевнобольных С-Петербургского Николаевского госпиталя”. А теперь поручик Катаев “выстрелил в часового из окна своей квартиры, когда же 19 апреля подполковник Ветчинкин с несколькими нижними чинами прибыл для арестования и отправления на гауптвахту, оказал вооруженное сопротивление. Против Катаева возбуждено обвинение в неповиновении, вооружённом сопротивлении распоряжению начальника и покушении на убийство человека. Содержась под арестом на гауптвахте, вёл себя, как совершенно умалишённый”. Михаил Васильевич был уволен из армейских рядов “по болезни” и ещё несколько лет жил в Петербурге. По утверждению Валентина Петровича, он женился на “простой, неграмотной крестьянке” из Николаева, бросил её, попал в сумасшедший дом в Одессе, оттуда к брату. Маленький Валия очень боялся дяди, который с добрым мычанием пытался схватить его худыми руками. “Иногда у дяди Миши начинался припадок буйного помешательства, и папа с трудом привязывал его полотенцем к кровати”. Умер он в 1901-м у них в доме.

11 ноября 1904 года в 56 лет от “прогрессивного паралича” умер “дядя Коля”, Николай Васильевич. “Когда его увозили в больницу, он вскакивал с носилок, страшный, бородатый, в длинной рубахе и, хохоча на всю улицу, пел сам себе “со святыми упокой” и дирижировал воображаемым хором”.

Похоронив мужа, Ида Обрист (она же Зинаида Катаева) переехала к сыну Василию в Петербург, где в скором времени скончалась.

Василий родился 7 января 1882 года. Катаев вспоминал, как он в “военно-медицинской офицерской шинели” кормил с ложки невыносимым рыбьим жиром его, Женю и своего родного брата Сашу (“примерный” Женя единственный был согласен и аж облизывался)... Из Новороссийского университета Василий Катаев перевёлся в Военно-медицинскую академию в Петербург. Был военным врачом на фронте в Галиции. Во время гражданской войны вернулся в Одессу и работал в госпитале. Он погиб в августе 1920-го в Одессе. Жена Василия, потомственная дворянка из Петербурга, дипломированная акушерка Надежда Нивинская осталась в Петрограде и там дожила до 1948 года.

Александр, у которого, по наблюдению писателя, “даже уши побелели от омерзения” к рыбьему жиру, родился 17 октября 1895 года. По стопам брата он пошёл в Военно-медицинскую академию, не закончил её, но связал всю свою жизнь с медициной. Военврач первого ранга, полковник медицинской службы, он прошёл Великую Отечественную войну (Черноморский флот), с 46-го года жил в Симферополе, потом переехал в Одессу. Умер он 22 апреля 1963 года в 67 лет и похоронен в Одессе, в могиле отца. О нём и о судьбах его братьев и сестёр — последняя катаевская повесть “Сухой лиман”.

Скажем и о двух двоюродных сёстрах Валентина Петровича...

Надежда родилась 8 июня 1880-го. В 1900-м она вышла замуж за уроженца Одессы, потомственного дворянина, военного медика Павла Николаевича Виноградова, выпускника Военно-медицинской академии, переведённого во Владивосток во время русско-японской войны, а затем в Петербург. Его не стало в 1924-м (как вспоминал Катаев — врач-рентгенолог умер от онкологии). Их сын Антон (между прочим, Антон Павлович!) в 20-е годы перебрался в Финляндию (“по ту сторону щели”, как сформулировал Катаев). Жизнь Надежды оборвал 37-й, о чём ещё будет сказано подробнее.

Зинаида родилась 24 марта 1884-го. В голодной Одессе она приютила у себя Петра Васильевича Катаева. Занималась шитьём на дому. Тихо прожила шестьдесят пять лет до самой смерти в 49-м году.

Валя и Женя Катаевы были похожи, но только внешне.

“Вообще в нашей семье он всегда считался положительным, а я — отрицательным”. Отношение старшего брата к младшему с его рождения до его смерти оставалось неизменным — заботливо-жалостливым. “Я хорошо помню, как мама купала его в корыте, пахнущем распаренным липовым деревом, мылом и отрубями. У него были закусшие китайские глазки, и он издавал ротиком жалобные звуки — кувакал, — вследствие чего и получил название *наш кувака*”.

“Смерть ходила за ним по пятам”. Интересно наблюдение литератора Сергея Белякова о том, что, если гибельные ситуации лишь убеждали Катаева в чувстве своей защищённости и добавляли ему жизнелюбия, то несчастья, происходившие с Евгением, каждый раз почему-то указывали на какую-то роковую обречённость, и это ощущали оба.

Отец вывозил сыновей на побережье Чёрного моря, далеко за пределы города. Будаки, Днестровский лиман... Наслаждение этим отдыхом Катаев потом красочно передал в книге “Белеет парус одинокий”.

Вале было восемь, когда первая волна смуты захлестнула страну, густо пенясь и в Одессе. Из окон он видел казачьи разъезды, огромную толпу с хоругвями... А на горизонте дымил мятежный броненосец “Потемкин”.

В девять лет он поступил в Одесскую пятую гимназию (туда же поступил и брат). Валя учился слабо и без вдохновения, на уроки, по его признанию, “плёлся”. В подростковом возрасте он остался на второй год и постоянно переживал “постыдные переэкзаменовки”.

Но и с тех же девяти лет начал писать стихи.

У Катаевых была библиотека с двадцатитомной “Историей государства Российского” Карамзина, полными собраниями сочинений классиков, энциклопедиями, словарями. Одним из первых писателей, кто произвел на Валю огромное впечатление, стал Гоголь, чьи персонажи сходились к детской постельке сквозь жар болезни:

*(Зовёт меня по имени...
А может быть, в бреду?)
— Отец, отец, спаси меня!
Ты не отец — колдун!
— Христос, храни!
— До Бога ли,
Когда рука в крови?
.....
— Зачем давали Гоголя,
Зачем читали “Вий”?*

Но даже описание изнурительной скарлатины в повести “Отец” даёт представление об уюте домашней обстановки: “Вечером у его постели на стуле горел стакан крепкой малины. Лампада наполняла угол сусальным жаром образов. Громадная тень пальмовой ветки легко и сладко лежала на полутёмном потолке. Позади (он не видел, но знал), за письменным столом сидел, исправляя тетрадки, отец”.

Пётр Васильевич подарил сыновьям маленькую паровую машину — наглядное пособие по физике, и микроскоп.

Валя, как и все одесские мальчишки, балдел от циркового представления — французской борьбы (когда соперника кладут на лопатки) и “дяди Вани”, Ивана Лебедева, предводителя турниров. Любил и театр (самый любимый — Одесский городской), где отец ёрзал рядом, поскольку очень беспокоился за нравственность сына.

Знакомо ли вам умственное взросление уже годам к девяти? Случай в самом деле нередкий. Так бывает, и особенно часто в “книжных семьях”, где постоянно ведутся разговоры о литературе и политике. Катаев оказался замальства литературно и граждански развит, с амбициями публичного автора, и точно так же очень рано начал влюбляться.

То, что он писатель, понял рано. “Когда, например, мне было девять, я разграфил школьную тетрадку на две колонки, подобно однотипному собранию сочинений Пушкина, и с места в карьер стал писать полное собрание своих сочинений, придумывая их тут же все подряд: элегии, стансы, эпиграммы, повести, рассказы и романы. У меня никогда не было ни малейшего сомнения в том, что я родился писателем”. Но ещё раньше, совсем крохой, накалякав нечто густое на бумаге, он с ошибками, кривыми печатными буквами написал первую в жизни поэтическую строку: “Какой хороший этот лес, и как прекрасно в этой дали”.

Хорошо и прекрасно. Два холмика макушки. Тёмный лес, который не тяготит, а манит нескончаемой далью.

В 1910 году Пётр Васильевич отправился на лето с сыновьями в долгое путешествие — на пароходе через Турцию и Грецию в Италию (осмотр знаменитых развалин, зданий и музеев, до Неаполя плыли с остановками в Катании и Мессине), а оттуда на поезде в Швейцарию. Маршрут путешествия был разработан давно (“в то время, когда ещё была жива мама”).

В другой раз побывали в Киеве в “паломнической поездке”: “Папа был очень рад, что ему удалось показать нам величие русской природы, древнейший русский город — источник православной веры”.

Первые публикации

В 1910-м в 13 лет он впервые напечатался со стихотворением “Осень” в газете “Одесский вестник”, и мы приведём его целиком. Надо сказать, когда я прочитал своему семилетнему сыну несколько стихотворений Катаева разных лет, впечатление на ребёнка произвела именно “Осень” — слушал завороженно и с сопричастной усмешкой. Может быть, дело в ребячливом наиве. Такое ощущение, что стихотворение для детей, а значит, поучительная банальность как бы и оправдана (несмотря на тоскливые картины природы, всё легко и бодро).

*Холодом дышит природа немая,
С воем врывается ветер в трубу,
Жёлтые листья он крутит, играя,
Пусто и скудно в саду.*

*Море шумит на широком просторе,
Бешено волны седые кипят,
И над холодной кипящей пучиной
Белые чайки тоскливо кричат.*

*Крик их мешается с рёвом стихии,
Скалы унылое эхо вторят,
Серым туманом окутаны горы,
Дачи пустые уныло молчат.*

В день, когда стихотворение было напечатано, Катаев в гимназию не плёлся, а бежал. Газетную страницу он прилепил к стеклянной двери класса, “и вся гимназия бегала смотрела на стихи, которые написал Валька”.

Он “получил страшный нагоняй от директора” — подписываться своим именем гимназисту было не положено.

Во множестве советских изданий и библиографий Катаева указывалось место его дебюта и ранних публикаций — “Одесский вестник”. Удивительно, ведь это орган губернского отдела “Союза русского народа”: достаточно открыть любой выпуск газеты, в том числе, прочитать любой текст, соседствующий с любым стихотворением Вали, чтобы натолкнуться на грубую риторику, которую ещё называют “жидоедской”. К примеру, следом за стихами “Из великопостных мотивов” (“Я к Тебе прибегаю, Христос”) следовало листовочное “Самооборона от евреев”.

В другой раз он именно бежал в гимназию в конце того же 1910-го. Бежал из-за дождя и потрясения, а мимо бежали газетчики, крича: “Смерть Льва Толстого!” Валя только что прочитал “Войну и мир” и был очарован этим романом. И вдруг — газетчики... “Ужас охватил мою душу. Мне показалось, что в мире произошла какая-то непоправимая катастрофа”.

За два года в “Одесском вестнике” было опубликовано более двадцати пяти стихотворений Катаева. Одни из первых напечатанных: “Стамбул” — впечатление от морского путешествия и “Рим”, в сущности, тоже впечатление от города, но с сюжетом из жизни Нерона. После “Осени” он стал публиковаться в “Южной мысли”, “Одесском листке”, “Пробуждении”, “Лукоморье”. За стихами последовала проза.

Первые его вещи в основном были благостны, сводились к морали, но при этом всегда не без озорства, а порой и с недетской дерзостью. В 1912 году отдельными брошюрами он выпустил два рассказа: “Пробуждение” и “Тёмная личность”. В “Пробуждении” изображён молодой человек, бывший революционер по фамилии Расколин, после злключения отправившийся к тётке в Одессу. “Припомнилась ему смутная пора 1905 года. Только что окончив университет, он, ещё не разочарованный горьким опытом, ещё полный нравственных и физических сил, вступил на житейский путь. И вот, увлечённый какими-то фантастическими идеями, под влиянием дурной среды, он с револьвером в руке стоит на баррикаде. Затем, как какой-то кошмар, вспомнил он арест, суд и, наконец, ссылку”. (Впоследствии Катаев авантюрно изобразит себя-ребёнка, родных и знакомых соучастниками революционного дела 1905 года, что, конечно, было далеко от реальности). Расколин, встретив на станции старинного приятеля, не доехал до Одессы, а отправился к нему на южный хутор, где познакомился с его восемнадцатилетней сестрой, “белокурой хорошенькой Танюшей”. Расколин провёл на хуторе последнюю неделю поста, помогал красить яйца, пошёл со всеми на церковную службу: “Когда в его ушах звенел напев Пасхальный, он понял, что он любит Татьяну, что любит сильно, страстно, как может любить человек, полный сил, полный веры в Бога и людей”. А ещё через неделю из Одессы он прислал девушке письмо, объясняясь в чувстве и окончательно отрекаясь от революции: “Ты, конечно, помнишь миг, когда мы возвращались из церкви и когда ударили колокола? Так знай же, что я с той поры переродился, с той поры я проклинал, нет, я не проклинал, а забыл и забыл навеки бурную, полную волнений и тревог жизнь. Я полюбил домашний очаг и тихую трудовую жизнь, я полюбил тебя, Таня!”

В сатирическом рассказе “Тёмная личность” главный герой — наглый и артистичный Сашка, которому автор явно симпатизирует. (Не ранний ли прообраз Остапа Бендера?) “Это был “тип”, один из таких типов, которые, попадая в водоворот столичной жизни, не пропадают, не теряются в нём и каким-то чудом находят себе средства к существованию среди тысяч подобных себе безработных. Уж это был его талант”. Плут обманом, лестью и шантажом сумел оставить с носом Куприна и Аверченко, навестив их в питерских квартирах, и в итоге зацепился за “жирный кусок жизни”. Да и не мечтал ли перебраться в столицу юный рассказчик?

Оба писателя изображены крайне насмешливо. Куприн у него — “человек с пьяньским баском” (уже тут у Катаева включается мастерство изображать, хоть бы шаржированно, но яркими безжалостными мазками): “Он ясно увидал лицо Александра Ивановича, оно было круглое, узенькие серые

глаза были окружены опухолью и мешочками; во рту торчала потухшая папироса, а круглый толстый подбородок обрамлён реденькой, неопределённого цвета бородкой, которая казалась выщипанной и не столько похожей на бородку, сколько на щёку неделю не брившегося актёра. Маленький фиолетово-красный нос дополнял портрет известного писателя. Он сидел перед столиком, представлявшим оригинальное зрелище: он сплошь был уставлен целой батареей бутылок самой разнообразной величины и формы. На полу валялось несколько пустых пивных бутылок. Перед писателем стоял колосальный жбан, из которого он изредка потягивал, тщетно стараясь раскурить полчаса тому назад потухшую папиросу”.

Если верить поздней катаевской беллетристике, тринадцатилетний Валя видел Куприна в 1910-м (“толстячок с несколько татарским круглым лицом и узкими зеленоватыми глазами”), когда тот сел в аэроплан с “вожским богатырем” Иваном Заикиным: полетав на глазах у публики, они чуть не разбились и совершили аварийную посадку.

В том же подростковом рассказе “Тёмная личность” Аркадий Аверченко торгуется с издателем “Сатирикона” Корнфельдом по поводу аванса за эпиграмму на лидера “Союза русского народа” (союзников):

— Ах, Моисей Генохович, но ведь аванс не под какого-нибудь Меньшикова — ведь аванс под самого Пуришкевича, а? Под самого Владимира Митро...

— А! Ай ему в рот палкой, не говорите мне этого проклятого с... с... союзника!”*

(На самом деле, Корнфельда звали Михаил Германович.)

Как правило ранние рассказы Катаева — живые, построенные на сцепке деталей, с тонким юмором, ещё и всегда слегка дидактичны. Набожен герой “Весеннего звона”. “Каждый день утром и вечером я хожу в церковь”, — рассказывает он о своей Страстной седмице. Ошибочно приревновав к девочке, в которую влюбился, знакомого мальчика, Витьку, он заложил мнимого соперника его матери, и из-за мук совести начал гореть, как от температуры, чтобы в пасхальный день исповедоваться при встрече:

— Прости меня.

— За что?

— За то, что я на тебя наюдил.

— А ты разве юдил?

— Юдил, что ты курил”.

Детски-назидательный дух первых вещей подтверждает и “Стихотворение в прозе” 1913 года, перекликающееся с поздними катаевскими знаменитыми сказками и историями для детей (“Жемчужина”, “Пень”). Это история победы весны над зимой и отдельного бессмысленного упорствования одного сугроба: “Лишь один на дне оврага, лишь один сугроб угрюмый — от метелей злых остаток — не растаял под лучами благодатного светила”. Заканчивается всё, конечно же, триумфом солнца: “И сугроб холодный таял. Он не мог томиться дольше под горячими лучами... И сугроба в жаркий полдень под ракетами не стало, а на этом месте вырос кустик маленьких фиалок”.

Несомненно, катаевская проза росла из его поэзии, и хотя он потом её забросил и возвращался к ней редко, так и не издав при жизни книгу стихов, сильнейшая поэтичность сделалась неистребимой сутью его прозы.

В газеты и журналы он тянул с собой брата, возможно, пытаясь пристрастить к писательству, что спустя годы удалось. “Женька, идём в редакцию!” — кричал Валя. “Я ревел, — вспоминал Петров, — предполагая: он вёл меня потому, что ему одному идти было страшно”.

Катаев исписывал стихами и прозой тетради и даже свободные страницы учебника. Он много писал о природе — море, луна и месяц, хрустальный хор светлячков, весна и ветер, но и о любви, влюблённости, страсти,

* К слову, упомянутый Михаил Меньшиков (1859–1918), публицист, один из идеологов русских националистов, был расстрелян вблизи озера Валдай. Владимир Пуришкевич (1870–1920) умер от сыпного тифа в Новороссийске. Аркадий Аверченко (1881–1925) и Михаил Корнфельд (1884–1973) умерли в эмиграции.

а часто — обо всём сразу, смешивая пейзаж и образ спутницы, порой доходя до игривого экстаза:

*Как пьявки, губы, и взгляд, как жало,
Горячий шёпот — как шелест роз.
Тоска и радость мне сердце жала.
Люблю улыбки твоей наркоз.*

Вале казалось не только естественно, но и интересно быть патриотом. Горячим. Как славное Чёрное море. Хоть бы и с перехлёстом. Этот ранний патриотизм был сродни раннему эротизму. Причины были везде и во всём — от пушечного ядра на Николаевском бульваре до военных наперсных креслов в шкафу: сплетение родовых корней, домашняя атмосфера, сердечные порывы.

В балагане на Куликовом Поле он смотрел представление, посвящённое Порт-Артуру, и “страдал за унижение России”, проигравшей японцам. Сделанный из папье-маше длинный броненосец “Петропавловск”, полотнище Андреевского флага на матче... “В моей душе шевельнулось горячее чувство восторга, хотя я ещё тогда не знал, что это необъяснимое чувство называется патриотизмом”.

...Город, возникший вокруг крепости, возведённой под руководством освободителя южных земель от турков полководца Суворова*, устроителя Новороссии светлейшего князя Потёмкина Таврического... Одесса адмирала-испанца де Рибаса, француза-градоначальника герцога Ришелье и его преемника графа Лонжерона. Город, где столько раз была война и менялись власти. Город горящего майским вечером 2014-го вместе с людьми Дома Профсоюзов на том самом Куликовом Поле, которое Катаев попросту называл Кулички и напротив которого жила его семья, переехавшая на Канатную...

“Сухой, сильный степной ветер нёс через Куликово Поле тучи чёрной пыли...” — наблюдал он, и ему приходили в голову зловещие образы бойни.

В 1912 году, в столетие Отечественной войны Катаев выступил в гимназии, где проходило торжественное литературно-художественное утро, со стихотворением:

*Война недолго продолжалась.
В России скоро не осталось
Ни одного врага, и вот —
Вздыхнул свободнее народ.*

*Настали святки. Все ликуют.
Несётся колокольный звон.
Победу русский торжествует.
Погиб, погиб Наполеон...*

*Пока в России дух народный
Огнём пылающим горит,
Её никто не победит! —*

На последних строчках он “выбросил вперёд руку со сжатым кулаком”.

* В 1969 году в Одессе “патриотические литераторы” предложили переименовать Де-рибасовскую улицу в Суворовскую. Местный писатель Аркадий Львов жаловался: он обратился к Катаеву с просьбой поднять свой голос против новой волны мракобесной кампании по борьбе с космополитизмом”, а тот “отказался наотрез”. “Он вспомнил, что в четырнадцатом году, когда началась война с кайзером, Малую Арнаутскую переименовали в Суворовскую, а затем, после Октябрьской революции, в угаре безоглядного отрицания своего прошлого, название упразднили. И вообще — это были слова, сказанные, что называется, под занавес: пусть лучше Суворов, чем кто-нибудь другой, считается основателем Одессы”. “Признаюсь, я был потрясён, — Львов решил масштабировать незначительный разговор. — Мне и в голову не приходило, что стольный мастер, один из лучших прозаиков России, запросто, через душевные кульбиты свои в заповедных сферах отечественной истории, побратается с квасными патриотами из презренной провинции!”

Он помнил пересказанную ему бабушкой со слов прабабушки историю про артиллерийского прапорщика Щёголева, героя Севастопольской кампании, отбившего английский десант и спасшего Одессу. “Бабушка вытирала платочком слёзы восторга, и я тоже начинал плакать от гордости за русскую армию и мечтал стать когда-нибудь таким же прапорщиком артиллерии, как Щёголев”.

А бывало и так... В 1911-м Катаев, которому ещё не исполнилось пятнадцати, выступил “Одесским вестнике” со стихотворным обращением “Пора” (“Посвящается всем монархическим организациям”):

*Волнуется русское море,
Клокочет и стонет оно.
В том стоне мне слышится горе:
“Давно, пора уж давно!”
Да, братья, пора уж настала,
От сна ты, Россия, проснись.
Довольно веков ты дремала,
Пора же теперь, оглянись!
Ты видишь: на западе финны
Свой точат коварно кинжал,
А там, на востоке, равнины, —
Китайский мятеж обуял.
И племя Иуды не дремлет,
Шатает основы твои,
Народному стону не внемлет
И чтит лишь законы свои.
Так что ж! Неужели же силы,
Чтоб снять этот тягостный гнёт,
Чтоб сгинули все юдофилы,
Россия в себе не найдёт?
Чтоб это тяжёлое время
Нам гордо ногами попать
И снова, как в прежнее время,
Трёхцветное знамя поднять!*

“Одесский вестник” явно опечтался: вместо “равнины” набрано “равнины”, — вероятно, от полноты чувств. Эти стихи занято диссонируют с биографией самого Катаева, не раз впоследствии в прозе и в жизни показывавшего себя “юдофилом”.

В 1912-м “Одесский вестник” помещает торжественные стихи Катаева “Привет Союзу русского народа в день шестилетия его”:

*Привет тебе, привет,
Привет, Союз родимый:
Ты твёрдою рукой
Поток неудержимый,
Поток народных смут
Сдержал. И тяжкий путь
Готовила судьба
Сынам твоим бесстрашным,
Но твёрдо ты стоял
Пред натиском ужасным,
Храня в душе священный идеал.*

* * *

*Шесть лет прошло.
Рассеял ветер тучи,
И засиял Российский небосклон,*

*Зарю новую и чудной озарён.
Взошла для нас заря,
Настало пробужденье.
И пусть же русский дух —
Могучее стремленье —
Гнёт вражеский в мгновение сломит
И знамя русское высоко водрузит.*

* * *

*Взошла для нас заря...
Колени преклоните
И в любящей душе
Молитву сотворите:
“Храни Господь Россию и Царя”.*

В 1913 году это стихотворение вышло почти в том же виде, стихотворец убрал лишь эпитет “чудной” про зарю и переменял сроки: “Семь лет прошло”. Стих гуляет по интернету в варианте, где написано “преклоня” и “составляя”, и, таким образом, в последней строфе пропущено сказуемое, но это не рано пробудившийся катаевский “мовизм” — “пишу, как хочу”, — а опечатка того, кто небрежно переписал стихи из архива.

Когда в романе “Разбитая жизнь” он пишет: “Генеральша варила варенье, а генерал сидел в бархатном кресле и читал черносотенную газету “Русская речь”, — хочется поинтересоваться: уж не со стихами ли юного Вали? Например, теми, что вышли 14 апреля 1913 года на мелованной бумаге в пахсальном вкладыше в газету:

*На устах — слова привета.
Перезвон колоколов...
Сколько жизни! Сколько света!
Сколько солнца и цветов!..*

До этого 30 января 1913 года в “Русской речи” появилась статья “Школьные учебники”, подписанная “В. К-в” (с большой вероятностью, за авторством 16-летнего Катаева — он признавал, что подписывался так!), где со знанием дела бойко критиковалось гимназическое образование и, в частности, хрестоматии для чтения по русскому языку и учебники по русской литературе. “В некоторые хрестоматии для учеников младших и средних классов ныне уже включены как образцы для изучения отрывки из Максима Горького, Тана, Якубовича и других представителей современной оппозиционной литературы, — беспокоился автор. — В истории литературы ещё ярче выступает это оппозиционное начало; в популярной для учеников форме проводится идея о “прогрессивных задачах” в нашей литературе и в обществе, а то, что явно противоречит этой идее, либо совершенно исключается, либо освещается как “материал реакционный”, не заслуживающий внимания”. Автора огорчало осмеяние знаменитой “Переписки с друзьями” Гоголя, замалчивание славянофилов и то, что “памятный роман” Достоевского “Бесы” противопоставляется “русскому свободомыслию”.

Между тем, влечение и почтение к Союзу русского народа могло быть следствием семейного воспитания. Как рассказывал поэт и одессит по происхождению Семён Липкин, отец писателя был известен на весь город своими взглядами, близкими к “черносотенным”. Это не удивительно — подобные взгляды имели силу в Одессе, где (единственный случай в истории монархического движения) в 1913-м черносотенцы одержали убедительную победу на выборах в Думу, а их лидер Борис Пеликан был городским головой до февраля 1917-го.

Интересно, что в повести “Белеет парус одинокий” Катаев в точности передаёт внешность, манеры и психологический типаж отца, вдовца, воспи-

тывающего двух мальчиков при помощи их тѣти, но рисует его “прогрессивным педагогом”, укрывающим то матроса с “Потѣмкина”, то евреев-соседей, и даже бросает грудью навстречу проклятым громилам, которые принимают его лупить. Ну, а впрочем, многие русские националисты защищали громимых (например, Василий Шульгин).

Катаев, уже старик, однажды в Переделкине разоткровенничался с писательницей Инной Гофф и вспомнил одесский погром: выставили икону на окно и прятали у себя семью соседа, ремесленника. Его дочери были в соломенных шляпках. “Как флаконы”, — улыбнулся Валентин Петрович.

Девочки Катаева

Первое свидание он, пятнадцатилетний, назначил знакомой четырнадцатилетней девочке. И когда оно состоялось, не знал, что делать. Сводило с ума само сладкое слово “свидание”...

“Валька бегал за всеми девочками в Отраде”, — вспоминала одна из его одесских подружек Инна Шамраевская. Имена тех, кому он посвящал стихи, известны: Тася Запорожченко, Мара и Мила Буратовичи, Люля Шамраевская, и, конечно, Ирен Алексинская (о ней отдельный сказ).

“Вечной влюблённости я был подвержен с детства, когда не было дня, чтобы я не был в кого-нибудь влюблён”, — признавался Катаев. И он же: “Мой донжуанский список состоял почти из всех знакомых девочек, перечислять которых нет никакого смысла”.

Самые ранние известные рукописи Катаева — стихотворные записи в альбом Тасе (Наталье) Запорожченко 1912 года (она была сестрой его товарища Женьки по кличке “Дубастый”, жили они по соседству):

*Я грущу в эти вешние дни...
Милый друг, успокой же меня...*

Или:

*Был я мал и глуп, когда впервые
Написал сюда шестнадцать строк...
Мне смеялись глазки голубые
И звенел весёлый голосок...*

В будущем Наталья, как и её брат, будет гостить у него в Переделкине. Но вот сопровождаемые автопортретами и рисунками стихи в альбомах сестёр Мары и Милы (Тамары и Милицы). Общим он признавался в любви. Одно стихотворение так и называлось “Маре Булатович от влюблённого поэта!!!”, а в другом, посвящённом Миле, сообщалось:

*Я не смогу Вас позабыть:
Довольно Вас хоть раз увидеть,
Чтобы безумно полюбить
Или безумно ненавидеть!*

*Про Вас пишу немного, Мила:
“Клянусь я разумом осла,
Клянусь слезами крокодила,
Что Мила чѣтовски мила”.*

Все это похоже на чепуху, подростково-кавалерскую забаву, да и в старости Катаев отмахивался: “Это были пустяки: ленточки из косы на память, письмецо на голубой бумаге, стишки в альбом: “Бом-бом-бом, пишу тебе в альбом. Хи-хи-хи, вот тебе стихи”, — но и замечал: “Некоторые мои романчики проходили в очень тяжёлой форме, даже с мучениями ревности”.

Вероятно, достаточно серьёзным было его отношение к девушке с “сиреневым именем” Ирен.

В 1913 году, когда Катаевы переехали на Пироговскую, З, Валя познакомилась с четырьмя сестрами Алексинскими. Одна, Инна, отпала — старше его, другие, близняшки Шура и Мура — слишком малы, осталась — Ирина, она же — Ирен.

Ирина Константиновна Алексинская родилась 5 мая 1900 года. Отец — генерал-майор артиллерии, мать — любительница музыки и поэзии. Болезненная девочка, в отличие от сестёр, получила домашнее образование, рисовала, писала стихи, играла на рояле — в доме создавалось что-то вроде салона или “кружка поклонников”. Шура вспоминала, что Катаев “влюбился в сестру с первого взгляда”. Так это или не так, однако о ней им написано больше, чем о ком-либо другом...

Она — прототип подлой Ирен Заря-Заряницей в “Зимнем ветре” и милой Миньоны в “Юношеском романе”. И главное: ей посвящены совсем не шаловливые юношеские стихи.

А была ли любовь?

Вот, например, сохранившийся отрывок из письма: “Дорогая Ирен! Страшная и жестокая вещь любовь! Она неслышно и легко подходит, ласково целует глаза, обманывает, волнуется, мучит и никогда не уходит, не отомстив за себя. Я не знаю, что со мной делается...”

Или он обманывался и обманывал её, как осознал под конец жизни, а по-настоящему любил другую?

На фотографиях Ирен часто прижимает к себе кошек, в её круглом личике с большими глазами тоже есть что-то задумчиво-кошачье, и Катаев писал о её “кошачьем язычке” (в голодные годы она станет лепить из глины и раскрашивать кошек и диких монстриков, которых сестрицы продавали “на толчке”. На последней карточке 1928 года, где Ирен, уже лежащая, с лицом, как череп, белая кошка поверх одеяла внимательно шурится в объектив). Рождённая в мае, она считала сирень своим цветком. “За то, что май тебя крестил и дал сиреневое имя...” — писал Катаев, а в другом стихотворении объяснял так:

*Твоё сиреневое имя
В душе, как тайну, берегу.
Иду тропинками глухими,
Твое сиреневое имя
Пишу под ветками сквозными
Дрожащим стеклом на снегу...*

В её записной книжке было немало его стихотворных посвящений (некоторые печатались в одесских газетах и даже столичных журналах), но она писала и сама. Вот, к примеру, стихотворение “Поэту — от девочки с сиреневым именем”: адресат назван “возлюбленным”, но как будто бы для размера, такое впечатление, что мог бы называться и “влюблённым”:

*Из сиреновой душистой неги
Я сплету причудливый букет
И тебе его в окошко брошу —
Получай, возлюбленный поэт!
Отряхнись скорей от сонной лени
И, вдыхая запах, — вспоминай:
Это та — чьё имя из сирени
Сплёл тебе для счастья звонкий май.*

Читая эти стихи, вспоминаешь катаевское наблюдение — в ней было много снисходительного и повелительного — от отца. Губы для выговора, а не для поцелуя...

Уйдя на фронт Первой мировой, Катаев как раз и попал под протекцию её отца (служил в его артиллерийской бригаде) и неустанно слал ей письма, несколько раз навещаясь в Одессу с разрешения генерала. В это же время в журнале “Театр и кино” (1916 год) появляется его сти-

хотворение “К ногам Люли Шамраевской” (и ей тоже он слал письма из “действующей армии”).

В 1916–1917 годах он учился в Одесском пехотном училище и снова мог постоянно видаться с Ирен, потом было очередное отбытие на фронт, ранение, возвращение... Они порвали в конце 1918 начале 1919 года, и большой вопрос, что их связывало, кроме строчек и рифм (“Когда впивая влажными губами // мой поцелуй, ты вздрогнешь, как лоза...” — сулил он).

Что их развело?

Прежняя социальная иерархия обвалилась. В 1919-м Одессу взяли красные... Потом откатили. В 20-м вернулись окончательно. Приходилось принаравливаться.

А не был ли этот роман с самого начала выдуманным? Для Ирен — “лишний поклонник”, для Валентина — романтика странствующего рыцаря. Всё-таки, видимо, чувство было, ведь была же тоска несовпадения, вспоминает же он ночное объяснение, после чего, отвергнутый, до рассвета просидел на берегу моря на шаланде, перевёрнутой дном кверху:

*И ныло от тоски всё существо моё,
Тоска была подобна чёрной глыбе,
И если бы вы поняли её,
То разлюбить меня, я знаю, не смогли бы.*

Или она предпочла ему другого? Он вспоминал про её “серьёзный роман” с его гимназическим товарищем, затем бежавшим за границу...

Ирина умерла от туберкулёза, прикованной к постели, 13 октября 1927 года. При последней встрече в начале 20-х она отдала Валентину часть его фронтовых писем.

В 1960-м Александра и Мария Алексинские вернули Катаеву другие письма. У этого была предыстория — Катаев свёл с Ирен счёты в “Зимнем ветре”, где всех назвал по именам, и внешность бывшей пассии выписал с абсолютной точностью. Петя Бачей влюблён в Ирен, дочь генерала, барышню с “крупно вьющимися волосами бронзового оттенка” и “серовато-лиловыми глазами”, которая “возрастом старше сестёр-двойняшек, но младше красавицы Инны”. Её отец расстрелян (в действительности же эвакуировался), и она исполнена злобы: “Теперь кончено. Россия должна быть только монархией и ничем другим. А всех большевиков во главе с Лениным надо вздёрнуть на первой осине”. Она стреляет в Петю из дамского револьвера, но мимо, а он — и, кажется мне, совсем не по идеологическим причинам, — “несколько раз с наслаждением и злорадством хлопнул её по щекам, приговаривая:

— Ах ты дрянь, ах ты генеральская тварь...

Она тонко завыла от боли и унижения и побежала по аллее, закрывая лицо руками. Чёрная вуаль зацепилась за сучок и повисла на кусте, с которого посыпался иней...”

Страстный вымысел уязвлённого мужчины.

Коротко о генерале Алексинском. Во время Первой мировой Константин Гаврилович — командующий 64-й артиллерийской бригадой. Участник Белого движения на Юге России. На май 1920 года — в Югославии.

В июне 1961-го Катаев, прославленный прозаик, отвечал в Одессу оскорблённым Алексинским, принося извинения и заверая в прежней любви, но как бы даже насмешливо: “Дорогие “сёстры А”! Вы неправы, обвиняя меня в том, что я вывел в своём романе “Зимний ветер” вашу семью. Это недоразумение, основанное на деталях... Ваши имена не столь самобытны, чтобы служить прямым указанием на семью... Вы должны понять, что у писательства есть свои великие законы, которые очень трудно перешагнуть”.

Катаев не раз указывал на несбывшуюся несчастную любовь, которую не мог забыть и которая переплавлялась в литературу.

Но об Ирен ли речь? Или это другая потаённая любовь? Или это собирательная “горечь прежних любовных неудач”?

В “Юношеском романе” он писал, что в Миньону (Ирен) был влюблён, “поверхностно, как бы буднично”, а “безнадёжно и горько” любил некую Ганзю.

Кто же такая Ганзя? В жизни её звали Зоя Корбул*. Родная сестра Зоиного мужа подтвердила, что Катаев нарисовал её точно: глаза “карие, какие часто встречаются у молдаванок”, волосы “тёмно-каштановые с еле заметным золотистым отливом”, невысокая — “неизвестно, как было заложено в меня тяготение к девушкам небольшого роста, как говорилось тогда, дюймовочкам”. Но любил он её не за внешность. Он никак не мог описать её прекрасную неувлечимость. Неосуществлённое, связанное с ней, какое-то обещание счастья томило его всю жизнь.

(Не о ней ли упоминавшийся рассказ семнадцатилетнего Катаева “Весенний звон”? — Ах да! — развязно восклицаю я. — Христос воскрес! Я и забыл... Всё хорошо, но в любви самое паршивое это то, что надо целоваться”. Спустя полстолетия тот же автор напишет: “Христос воскрес, — сказал я более решительно, чем этого требовали обстоятельства, и неуверенно шагнул к ней... — Воистину, — ответила она и спросила, улыбаясь: — Надо целоваться? — Приходится, — сказал я, с трудом владея своим грубо ломающимся голосом”).

Зоя Ивановна Корбул родилась 6 августа 1898 года в имении своих родителей недалеко от Днестра. По семейному преданию, их род брал начало от римского полководца Кобуллона. Катаев придумал фамилию Траян случайно: Марк Ульпий Траян — блестящий римский полководец. “Судьба привела меня, наконец, к Траянову валу, где я решил умереть, как скиф, отвергнутый римлянок”. Зоя училась в одесской частной гимназии О. С. Белен-де-Баллю. Он тянулся к девушке и молчал. Молчал годами. В 1915-м Зоя поступила на историко-филологический факультет одесских Высших женских курсов. “Хотя она уже была в полном расцвете своей молодости и красоты, курсистка, невеста, а я, хотя и пехотный офицер-прапорщик Керенского, как тогда говорилось, между нами стояла, как в юности, странная, прозрачная стена моей молчаливой робости и её милого равнодушия”. Катаев описал и её жениха, а потом мужа Сергея Стефанского, дворянина, офицера, спортсмена “с красивым римским носом и сдержанной улыбкой победителя”. Зоя обвенчалась с ним в 1919-м. Через месяц был крещён их новорожденный сын, а в начале 20-го, с приходом красных, они уплыли в Константинополь (“маленькая гордая римлянка-изгнанница”). В Одессе умер их первый и последний ребенок, оставленный на руках у Зоиной матери, и был убит Зоин брат-белогвардеец, которого Катаев запомнил “застенчивым гимназистом”.

В 1963-м, уже после смерти Сергея Стефанского, они встретились в Лос-Анджелесе. “Америка была для меня последней надеждой ещё хоть один-единственный раз увидеть женщину, которую любил с детства, а точнее говоря — с ранней юности”. Через несколько лет он снова прилетел в Лос-Анджелес и пришёл к ней. А вот запись из 60-х на обороте визитки, присланной им Зое: “С Новым годом. Неужели у Вас нет потребностей написать мне?”

Зоя и Валентин умерли в один год — он в апреле, она в августе...

А как быть с “маленькой голодной царицей”, поджавшей “сизые от купания губы”? В “Траве забвенья” она, выросшая, превращается в Клавдию Зарембу, жестокою большевичку. Только вот она ли?

Как трудно разгадать этот повторяющийся на фоне гражданской войны тревожный образ “девушки из совпартшколы”, которая в его прозе то с болезненной тоской, то с ледяной решимостью сдаёт чекистам возлюбленного офицера — почти как Ирен из “Зимнего ветра”, выдохнувшая: “Убейте его, он изменник”.

Но неизбежное правило: если у Катаева повторяется некий образ, значит, во-первых, кто-то был, а во-вторых, кто-то зацепил.

По его признанию, втайне он был влюблён в сестру друга Юрия Олещи — Ванду, хотя и видел её мимоходом. И продолжал, со слов Олещи:

* Журналист Константин Васильев исследовал её судьбу в статье “Римлянка-изгнанница” (журнал “Одесса”, № 2, 1997).

к себе” (Ванда умерла в 1919-м от тифа).

А в будущем ждала любовь к сестре другого приятеля — Михаила Булгакова...

...Однажды в 1919 году одесская гимназистка заметила высокого молодого человека, бредущего по бульвару в красной феске и с букетом фиалок в петлице... Их познакомили.

*И там, вдалеке, у фонтана,
Где дышится всем так легко,
Впервые увидел вас, Анна
Сергеевна Коваленко.*

Они поженятся в Москве в 24-м...

“Может быть, эта любовь — как и всё в мире — не имела не только конца, но не имела начала. Она существовала всегда”.

*Их очень много. Их — избыток.
Их больше, чем душевных сил —
Прелестных и полузабытых,
Кого он думал, что любил.*

*Они его почти не помнят,
И он почти не помнит их,
Но, Боже! — сколько тёмных комнат
И поцелуев неживых.*

*Какая мука дни и годы
Носить постыдный жар в крови
И быть невольником свободы,
Не став невольником любви.*

Наследники

В 1914-м — судьбоносном для России, вступившей в войну, — он познакомился с Буниным, ежегодно бывавшим в Одессе.

В этом месте сразу хотелось бы сказать о двух главных бунинских наследниках. Это Владимир Набоков и Валентин Катаев.

Идея, казалось бы, лежит на поверхности, но как мало и слабо она осмыслена в литературоведении...

Оба не просто были знакомы с Буниным и смиренно представляли ему на суд первые тексты, но и совпадали с ним в главном — верховенстве красок над остальным, внимании к детали, переживании брэнности бытия. Особый прищур: жадное всматривание в яркую жизнь на контрасте с тревожным ожиданием неизбежной черноты.

“Бунин учил меня видеть, слышать, нюхать, осязать”, — писал Катаев. Ученик наследовал учителю вплоть до мелочей: если у Ивана Алексеевича кончик сигареты краснел во тьме земляничной, у Валентина Петровича — ягодой малины.

В марте 1921-го юный Набоков отправил Бунину письмо с признанием в любви, и его жена Вера Муромцева сообщила в дневнике: “Книга Яну от Сирина. Мне понравилась надпись: “Великому мастеру от прилежного ученика”, он не боится быть учеником Яна, и, видимо, даже считает это достоинством”. “Дорогой учитель Иван Алексеевич”, — обращался Катаев в письмах к Бунину.

Набоков полагал, что нашёл родственного художника: Бунин острее других чувствовал разрушительную силу времени и был способен управиться с ней через искусство. Поздний Катаев твердил о своём открытии: времени не существует. Бунин: “Я не признаю деления литературы на стихи и прозу”. Набоков: “Поэзия включает всё творческое сочинительство; я никогда не мог уловить никакой родовой разницы между поэзией и художественной прозой”.

Катаев, по выражению Николая Асеева, “свои стихи превратил в прозу”, но и пошёл дальше, ломая жанры, не только свободно перемешивая прозу и поэзию, но и раскавычивая чужие строфы: “Я считаю хорошую литературу такой же составной частью окружающего меня мира, как леса, горы, моря, облака, звезды...”

“Я думаю, что, не будь меня, не было бы и Сирина”, — сказал Бунин о Набокове. “Бунин читал “Парус” вслух, восклицая — ну, кто ещё так может? — сказала Муромцева в 60-м катаевской жене Эстер. — Но вот в одно он никогда не мог поверить: что у Вали Катаева — дети” (то же учительское отношение: прекрасный текст, но автор — всё равно мальчик).

Набоков, отрицавший советскую литературу, сделал исключение для сюжета “12 стульев”, придуманного Катаевым (и Олешу похвалил в интервью рядом с Петровым и Ильфом, то есть “южнорусскую литературу”).

То, что Набоков не называл именно Катаева, но хвалил тех, кто рядом (“тепло!” — как в жмурках), можно объяснить соперничеством. То же самое писатель Анатолий Гладилин находил и у Катаева: “По густоте сравнений и метафор, по красочности и точности деталей он не уступал Набокову. Набокова, кстати сказать, Катаев не любил, но, думаю, это была “нелюбовь-ревность”, как не терпит сильный волк-вожак сильного волка-соперника в своей стае, на своей территории... Других соперников он себе не видел”.

А вот противоположное, но подтверждающее всю ту же мысль свидетельство сотрудника “Нового мира” Алексея Кондратовича из дневника 1969 года: “Вкусы Катаева очень точно выразились во фразе: “Набоков, конечно, великий, величайший писатель”.

А по воспоминанию критика Сергея Чуприна, в 1971-м на совещании молодых литераторов после чьей-то реплики: “Валентин Петрович, согласитесь, вы же лучше всех пишете?” — скучающий мэтр оживился: “Нет, я второй. Писатель номер один — запомните! — и по складам: — На-бо-ков”.

Интересно, что 18 апреля 1974 года в “Правде”, в статье, посвящённой постановлению ЦК КПСС “О литературно-художественной критике”, литературовед Александр Дымшиц призывал к порядку: “Сближение советского писателя В. Катаева с декадентским зарубежным литератором эмигрантом Набоковым, безусловно, не ответственно”.

И Катаев, и Набоков повели эстетизм своего учителя дальше, оригинальными траекториями, на разных половинах земного шара.

Раньше, по юношеской дури, мне казалось, что Катаев — это Набоков для бедных: упрощённый, с отсечением неблагоприятных мыслей, необходимостью потрафлять цензуре и пропаганде, некоторой журналистской поверхностью, рассчитанной на “широкие массы”, с задиристой китчевостью, когда посреди собственной прозы можно сверкать строчками, вырванными из чужого стихотворения, труднодоступного советскому человеку.

Теперь я думаю по-другому.

Набоков — неподвижное бездонное озеро, Катаев — море, всегда наморщенное ветром.

Катаева от Набокова отличало присутствие в прозе ветра, который можно назвать “демократизмом”.

Биографии разные. Разный пульс. Катаев — это причастность к истории, вовлечённость в события, и действительно, удел общаться с тьмой читателей, завоёвывая их. Набоковское присутствие в истории — судьба его отца-кадета. Катаева же история закрутила лично: войны, раны, стройки, необычайная близость власти и постоянная вероятность гибели — это вам не лекции читать с кафедры. Отсюда — косой ветер, который прорывался сквозь снобизм великопной отделки, отсюда фирменные пробылы между кусками прозы и просто фразами: на этих пустых пространствах ветрено. Ветер морщит строчки.

Бунин

Катаев сознавался: уже сочиняя стихи и даже печатаясь, он о Бунине ещё не знал. Но однажды в редакции “Одесских новостей” журналист Герцо-Виноградский, писавший фельетоны под псевдонимом “Лоэнгрин”, посо-

ветовал показать стихи Александру Фёдорову, после чего мальчик сообразил, что это отец его товарища Витьки, хваставшего, что “бацька писатель”. Это тот самый Витька из “Весеннего звона”, на которого “наюдил” рассказчик (“— А кто твой папа? — Писатель”). Именно этот Витька потом чудом избежит расстрела в ЧК и станет героем “Вертера”. По другой версии, с Фёдоровым Валю познакомил собственный отец, знавший писателя и у него бывавший.

Так или иначе, Катаев посещал Фёдорова, благоговейно выслушивая советы и стихи.

Александр Митрофанович Фёдоров — признанный в столицах художник, прозаик, поэт, драматург, любимый ученик Майкова, к тому времени автор многотомного собрания сочинений, теперь забытый, но для Вали — важный человек на жизненном пути, первый настоящий писатель. Владелец роскошной дачи, собиравшей именитых гостей. Автор нашумевшего романа “Камни”, где ещё в 1910 году предсказывались революция, гибель царской семьи (семья помещика Лигина) и крах всей прежней России.

Фёдоров ошеломил Валу стихами Бунина... В “Грасском дневнике” любовница Бунина Галина Кузнецова приводила его слова: “Да, помню, как он первый раз пришел. Вошёл ко мне на балкон, представился: “Я — Валя Катаев. Пишу. Вы мне очень нравитесь, подражаю вам”. И так это смело, с почтительностью, но на границе дерзости. Ну, тетрадка, конечно”.

Бунин не отверг. Тетрадка заинтересовала...

Листая стихи юноши, учитель даже переделал одно из них, высокопарное:

*А в кувшине осенние цветы,
Их спас поэт от раннего ненастья,
И вот они — остатки красоты —
Живут в мечтах утраченного счастья.*

Он перечеркнул строфу карандашом и набросал на полях другое четверостишие со скудными деталями:

*А на столе осенние цветы.
Их спас поэт в саду от ранней смерти.
Этюды. Помятые холсты.
И чья-то шляпа на мольберте.*

“И до сих пор меня мучают эти помятые холсты, — усмехался Катаев в 60-е, — показывающие, что даже у самых лучших поэтов иногда попадаются проходные эпитеты”. После этой встречи он следовал полученным советам: “Бежит собака, пишите о собаке”, — старался описать всё вокруг, во всём, самом будничном, находя поэзию, и всюду горделиво показывал тетрадку с бунинской правкой.

У Фёдорова, где Бунин царил над кружком “реалистического толка”, Валя наблюдал шуточные состязания по меткости художественных образов (“что на что похоже”). Но одновременно почитывал столь отвратительные Бунину футуристические сборники (“Пощёчина общественному вкусу”, “Дохлая луна”, “Засахаре кры...”, “Садок судей”), с запозданием дошедшие до Одессы. Тем более что знакомые молодые поэты начали выпускать свои (“Шёлковые фонари”, “Серебряные трубы”, “Авто в облаках”).

Катаев любил Блока, но никак не мог принять модернистскую вычурность и “заумь”. “Мои сверстники вообще были страшными снобами. А я любил Никитина, Кольцова, ценил их. У нас дома этих поэтов знали наизусть и цитировали. Среди сверстников-леваков я был, по сути, одинок”.

В начале августа 1914-го Катаев обращался в письме с покаянной искренностью, как духовный сын к наставнику: “Многоуважаемый Иван Алексеевич! Ввиду того, что на этих днях я выезжаю из Одессы с санитарным поездом на театр военных действий, очень прошу назначить мне обещанный “осенний” день и час, дабы я мог с вами проститься и узнать ваше мнение о моих последних 5-6 вещичках, в которых нет ни одного слова лжи. Из рекомендован-

ных вами книг ни одной не прочёл по причине лени. Хотя надеюсь наверстать потерянное после окончания кампании... Уважающий Вас Валентин Катаев. Простите за беспокойство!”

Им ещё предстояли послевоенные встречи среди другой войны — гражданской.

Отныне и навек Бунин отпечатался на всей катаевской литературе... Бунинской эстетикой был проникнут пейзажный цикл, публиковавшийся с марта по август 1915-го в журнале “Весь мир” и “Одесском листке”.

*А дни текут унылой чередой,
И каждый день вокруг одно и то же:
Баштаны, степь, к полудню — пыль и зной.
Пошли нам дождь, пошли нам тучи, Боже!*

Это из стихотворения с подзаголовком “Посвящается Ив. Бунину”.

А в “Южной мысли” от 10 апреля 1916-го уже проступила тонкая ирония — имя учителя шло через запятую с нелюбезным ему символистом:

*А дома — чай и добровольный плен.
Сонет, набросанный в тетрадке накануне,
Так, начерно... Задумчивый Верлен,
Певучий Блок да одинокий Бунин...*

Впрочем, ирония ли это или нежелание принимать разделения настоящей литературы на направления? Ведь и Олеша, своими вкусами похожий на Катаева, вспоминал: “Восхищение наше Буниным или Александром Блоком было чистым...”

Кстати, с Буниным Олешу познакомил Катаев: “Так как это произошло по пути на бульвар, расположенный над морем, то всех нас, участвовавших во встрече, охватывало пустое, чистое, голубое пространство. Сперва шли по направлению к морю только мы двое — я и Катаев; поскольку мы куда-то направлялись, то не очень уж смотрели на пространство вокруг... И вдруг подошёл третий. Тут и обнаружилось, сколько вокруг нас троих голубизны и пустоты.

— Познакомься, Юра, — сказал Катаев и затем добавил, характеризуя меня тому, с кем знакомил: — Это тот поэт, о котором я вам говорил.

Имени того, кому он представил, он назвать не осмелился; я и так должен был постигнуть, кто это”.

В 1915-м Олеша посвятил другу стихотворение “В степи”, по собственному и Катаева определению написанное “под Бунина”:

*Иду в степи под золотым закатом...
Как хорошо здесь! Весь простор — румян,
И всё в огне, а по далёким хатам
Ползёт, дымясь, сиреневый туман...*

Но другу предстоял другой огонь — артиллерии, и другой туман — газовой атаки...

Первая война

Итак, уже в августе 1914-го Катаев собирался ехать на войну с санитарным поездом.

Осенью с другими гимназистами он убирал хлеб в солдатских семьях, оставшихся без хозяев. Составлял поэтический альманах в пользу раненых (и под присланным стихотворением впервые увидел имя Олеша).

Зимой, в конце 1915 года, провалив экзамены, добровольцем (или как тогда говорили — охотником) ушёл воевать.

“Выгнанный из седьмого класса за неуспеваемость гимназист-переросток, окончательно запугавшийся, понял, что для него есть только один вы-

ход”, — признавался Катаев. И всё же: “Хотел я себя представить молодым патриотом... И, если будет угодно Богу, умереть за веру, царя и отечество”.

Война жадно забирала молодых. В письме Бунину от 14 марта 1916 года Александр Фёдоров, сообщая о сыне Вите, подлежавшем призыву, добавлял: “Лучшие его товарищи также пошли на это крестное страдание. Помнишь ты поэта Катаева? Он пошёл из седьмого класса гимназии охотником в артиллерию. Теперь сражается”.

В повести “Отец” лирический герой Петя Синайский отправляется в канцелярию воинского начальства с бьющимся сердцем и выстрадавшей заготовленной фразой: “Полковник, в то время, когда тысячи людей умирают на войне за родину, я не могу оставаться в тылу. Прошу немедленно отправить меня добровольцем на фронт!”

В конце 70-х Катаев вспоминал, как вылезал из землянки и прогуливался вдоль старых, “кутузовских” берёз, обвешанных солдатскими котелками: “И мне казалось, что в это время в меня вселяется душа моих предков Бачеев — деда, прадеда — русских офицеров, в течение нескольких столетий и в разных местах сражавшихся за Россию, за её целостность, за её славу, за Чёрное море, за Кавказ... Всё вокруг меня дышало русской историей”.

Как сказано выше, его взял под свою опеку отец Ирен, генерал-майор Алексинский. Из “Послужного списка” следует, что вольноопределяющийся 1-го разряда вступил в службу в 1 батарею 64 артиллерийской бригады 1 (14) января 1916 года.

Валентин начал службу в лесу под небольшим, разбитым снарядами белгородским городом Сморгонь младшим чином на артиллерийской батарее — канониром, затем получил нашивки бомбардира, затем — младшего фейерверкера, через год был произведён в прапорщики. В письме Александру Фёдорову (с припиской “Если Бунин в Одессе — Привет”), который вскоре сам отправился на войну корреспондентом, он писал: “С самого моего приезда на фронт попал в такие переплёты, что не дай Боже!”

У солдат сложилась поговорка: “Кто под Сморгонью не бывал, тот войны не видал”. Впервые за время долгого отступления русских армий немцы были остановлены именно здесь и сдерживались более двух лет. В боях под Сморгонью принимал участие штабс-капитан 16-го Менгрельского гренадерского полка Михаил Зоценко.

Катаев не воспользовался привилегией жить вместе с офицерами, поселился с солдатами, испытав все тяготы их быта.

Он не забывал и литературу — стихи, рассказы, очерки, пылкие письма с лирическими отступлениями. Позиционное ведение боевых действий этому способствовало. Хотя опасность подстерегала повсюду, и смерти случались там и тут. Однажды он прохаживался с обнажённым “бебутом” (чем-то вроде длинного кинжала). Взобрался на вершину бугра, чтобы лучше видеть волшебный снежный пейзаж, и тут засвистели над головой немецкие пули. Канонир кубарем скатился вниз. “Это было моё боевое крещение”.

Ирен и её сёстры отдали ему не все письма (соответственно, не все оказались собраны и переосмыслены в “Юношеском романе”). Кое-что обнаружено в архиве Одессы. Например, вот это: карандашом, быстрым почерком: “22 января 1916 года. Действующая армия. Когда я получил Ваше маленькое славное письмо, ей-богу, был рад, как ребёнок. Получил я его вечером. В окопе очень темно, и поэтому прочитал я его кое-как. Насилу дождался утра. Утром пошёл бродить подальше от землянок, чтобы остаться с Вашим письмом наедине. Подождите, лучше стихами...”

*Мне было странно, что война,
Что каждый день — возможность смерти,
Когда на свете ты одна
Да ломкий почерк на конверте...*

Сейчас мы на передовых позициях, а я со своим взводом за версту от немцев. Летают пули, над головой рвутся гранаты. Пустяки, привык. Буду хлопотать об отпуске на Пасху в Одессу...”

При содействии генеральской дочки он провёл пасхальную неделю дома. И снова был фронт, где он не мог ни на минуту отлучиться от орудия без разрешения, и был рад, когда получал приказ от начальства отправиться куда-нибудь по делу, — тогда он шёл, весело размахивая руками, то и дело вглядываясь и внюхиваясь в душистое письмо барышни...

Корреспонденции с фронта, иногда в виде “писем к И. А.” Катаев публиковал в газете “Южная мысль”. Он старался передать фронтовой быт в мельчайших подробностях, не забывая делать акцент на положительные сведения. “Наша техническая подготовка — безукоризненна”. За пять верст от позиции — лавочка, солдаты шествуют оттуда “счастливые, нагруженные сахаром, булками, салом”. “Против лавочки — баня. Возле неё постоянно — группы землячков со свёртками белья подмышками”. Отдельно отмечал он “деятельность экономических лавок, питательных пунктов и санитарных поездов В. М. Пуришкевича” — “их значение очень велико”.

Катаев наперекор аду в каждом тексте упражнялся в изобразительности — много описаний природы, а звуки войны художественно поданы: пальба, как будто “кто-то хлопает дверью или выбивает ковры”, “вдалеке постукивает пулемёт, словно кто рубит котлеты”, “ружейная стрельба, издали похожая на шум осеннего моря”.

“По вечерам у нас — музыка и танцы. Играют на гармонике, скрипке и... лавровом листике”. Это солдат “засунул в рот лавровый лист и извлекает из себя тонкие, жалобные звуки”. “Землячки” научились красить белые рубахи в “великолепный защитный цвет”: их бросают в котел с кипящей водой “с сочной болотной травой, берёзовыми листьями и т. д.”. Служба и причастие — “как-то странно: орудие и возле него алтарь, икона и священник с крестом”. Огромный сибиряк Горбунов стирает бельё за обучение грамоте. Херсонский моряк Колыхаев учится писать письма “благоверной и благочестивой жене”. Катаев читает вслух классику: “Что касается Анны Карениной, то она была единогласно названа шлюхой”. Общаться по душам было не с кем: симпатизируя солдатам, он тем не менее чувствовал себя чужим. “Наша землянка похожа на погреб... Теснота ужасная, кусают блохи. Иногда я сам себе кажусь кротом, который зимует в норе... Я всё боюсь, чтобы нас не открыли с аэростата и не стерли с лица земли... Хочется женской ласки...”

“И представляешь себе так живо провинциальную гимназистку с толстыми русыми косами и голубыми глазами...”

А вот — о ранении орудийного наводчика. “Оттого, что серый день глядит скупо в маленькое окошечко, на веках у раненого лежит зеленоватый свет. У фельдшера в руках таз с окровавленной водой. Живот у Стародубца забинтован. Возле двери — молоденький офицер, начальник Стародубца. Он смотрит на него большими, умоляющими глазами и говорит взволнованно и тревожно:

— Стародубец... Стародубец... Стародубец...
Словно хочет разбудить его...”

В старости Катаев напишет о том, что не могла пропустить цензура: наводчика погубил разрыв своего же бракованного снаряда, и вокруг шушукались об измене.

Он хвалился тем, что его батарею доверили охранять авиационный отряд. “Аппарат “Илья Муромец”! Ведь это наша национальная гордость”. Ему довелось увидеть “аппарат” в действии: “Прямо у меня над головой, в зените: чёрная распластанная птица, похожая на крест.

— “Муромец”!

Какой огромный! Как спокойно и быстро идёт”.

Из другого сообщения про “будни”: “Осколки гранат срезают стройные, кружевные сучья берёз, которые валяются с макушек к моим ногам... Сперва жутко. Потом... тоже жутко... Попадаю сапогом в лужу крови”.

Та война нашла место в его прозе разных лет. Вот, например, рассказ “Под Сморгонью” 39-го: “Несколько сот десятипудовых превратили нашу батарею, наш прелестный уголок с шашечными столиками, скамеечками, клумбами и дорожками, в совершенно чёрное, волнистое, вспаханное поле”.

В корреспонденциях Катаева из циклов “Наши будни” и “Письма отсюда” — отвага и душевность батарейцев с их подлинными биографиями и фамилиями. Фронтовые стихи выходили в петроградском журнале “Весь мир”:

*Ночной пожар зловеющий отблеск льёт.
И в шуме боя, чёткий и печальный,
Стучит, как швейная машинка, пулемёт
И строчит саван погребальный.*

Несмотря на всё горе, Катаева не оставлял патриотический настрой, так что Фёдоров воодушевленно писал ему весной 1916-го: “С волнением читали мы последнее Ваше письмо. Да, чувствуется, слава Богу, что теперь мы будем давить немцев и, Бог даст, раздавим их”.

Война обострила в Катаеве ощущение единственности: постоянно испытывая страх смерти и даже ужас, он, тем не менее, был уверен в своей неуязвимости, заговорённости, подозревал себя в бессмертии; ему казалось, что это он накликал войну, как-то таинственно ответственный за эту бойню. Впоследствии он повторял, что на войне потерял веру.

Именно в его военных рассказах и зарисовках возник мотив, который не отпустит его никогда: трагикомичность реальности, словно людскими судьбами жонглирует адский клоун. В коротком фронтовом рассказе “Земляки” 1916 года в избе с больными и ранеными солдатами один из них с ежовой головой хвастается, как его любят бабы, и сочно описывает доставшуюся ему в отпуске солдатку, истосковавшуюся по мужчине, и тут оказывается, что один из раненых, тифозный и обмотанный бинтами, — её муж. “Испить бы, — прощентал обмотанный”, — которому не до ревности, ведь он едва жив.

Вспоминая кровавую картину, Катаев повторял: “Осадок остался на всю жизнь”, — и спустя десятилетия мог застонать. “Кажется, что я весь, с ног до головы в крови, которую никогда и ничем уже не смыть”.

22 мая 1916 года русские ринулись в наступление на Юго-Западном фронте — знаменитый Брусиловский прорыв, после которого стратегическая инициатива перешла к “союзникам”. Вражеские удары под Сморгонью, на Западном фронте стали злее.

В ночь на 20 июня немцы выпустили отравляющие газы в сторону русских позиций. В “Южной мысли”, в очерке “Удушливые газы”, Катаев писал: “Все имеют нелепый, смешной вид и похожи на водолазов. Крутят головами и тарашат друг на друга большие от очков глаза. Тишина, в виски стучит. В дверь начинает входить редкий-редкий зеленовато-жёлтый туман.

Мысль-молния:

— Газ... Это — газ”.

А вот уже приходится спасать солдата по прозвищу “Старик”, намочив в чайнике изношенную портянку и набросив ему на лицо. Батарея палит, все задыхаются, теряя сознание и рассудок.

Ровно через месяц противник повторил газовую атаку. Тогда отравился газами Михаил Зоценко, получив порок сердца.

Катаев вспоминал, как, будучи дневальным, бросился в блиндаж, и пока будил батарейцев, наглотался фосгена: “Мне худо. Головокружение. При каждом вздохе в лёгких кинжальная боль. В висках оглушительный шум... Я уже еле сознаю, что со мной делается. Где? Почему вокруг меня какие-то люди? Кто они? Ах да, тень фельдшера и рядом с ним тень моего взводного... Я делаю усилие, стараясь улыбнуться, дать понять, что я жив ещё, и в тот же миг лечу в пропасть небытия”.

Его доставили в лазарет. К счастью, лёгкие не пострадали, были задеаты бронхи.

“Впоследствии доктор как-то заметил мне:

— Скажите спасибо, что я не пожалел для вас казённой камфоры и вкатил вам по знакомству не один, а два укола. А то бы вы были уже давно на том свете”.

От фосгена голос Катаева навсегда приобрел надтреснутую хрипотцу.

С августа по ноябрь 1916-го Катаев с артиллерийской бригадой прибыл на румынском фронте. Сначала были запутанные странствия: их погрузили в эшелон на станции Столбцы. Прибыли в Буковину, убеждённые, что их направят в Брусилловский прорыв. Форсированный марш до Галиции. Недавно занятые русскими города Черновцы, Коломыя. Неожиданно бригаду развернули и эшелонно привезли в родную ему Новороссию, запахло близостью дома и моря: Жмеринка, Раздельная... Потом Тирасполь. Город Рени на берегу Дуная. Оттуда (так устроила Ирен) Катаева на пять суток командировали в Одессу. 14 августа Румыния, вдохновлённая успехами генерала Брусилова, объявила войну Австро-Венгрии, и Катаев устремился обратно — догонять свою бригаду. После двухдневного путешествия на барже по Дунаю прибыл в город Чернаводэ. И, наконец, поездом — в город Меджидие. И далее — к самой границе с Болгарией, в Южную Добруджу, где развернулись военные действия. “Здесь некогда воевал с турками мой прадед и освобождал братьев-славян мой дедушка. И вот теперь я бреду в пыльных сапогах...”.

Отравив чудовищными сценами, война пробудила в нём поэтику беспощадности: “Сербы дерутся как львы!.. Пленных не берут, раненых добивают на месте. Прелестные ребята!”

Вскоре бригада, где находился Катаев, попала в окружение к немецкой армии Августа фон Макензена (германского генерал-фельдмаршала, дожившего до 95 лет и облаканного Гитлером). У немцев было значительное превосходство в силах. В очерке “Из Румынии” Катаев писал: “Этот ад продолжается двое суток, и мы в течение их не отдали ни одной пяди земли, хотя неприятеля было вчетверо больше нас... Сейчас, стоит лишь мне зажмурить глаза, я отчётливо представляю себе поле, широко видимое сквозь стекла “цейса”, и отовсюду, из-за каждого бугра, из-за каждой неровности местности — идущие густой чёрной массой неприятельские колонны”. И всё же пришлось поспешно отходить...

Наши войска закрепились на Траяновом валу между городами Меджидие и Констанцей. Катаев был телефонистом при офицере-наблюдателе. Под непрерывным обстрелом он десятки раз полз из окопчика вдоль телефонного шнура, чтобы соединить концы провода.

Новое отступление. Катаев не смог догнать свою батарею с телефонистом-напарником. Они скитались одиннадцать дней. Тогда в октябре 1916-го Добруджа была потеряна... В портовом городе Браила на реке Дунай в кабинете генерала Алексинского (главного начальника снабжений Румынского фронта) он доложил военному начальству обо всех подробностях бегства. По его воспоминаниям, за “мужество при обороне” Траянова вала он был представлен к солдатскому Георгию четвёртой степени. Догнав свою батарею, он попал в новый кошмар — разрывались новейшие тяжёлые снаряды — “крякалки”, накатывала пехота неприятеля. Катаев самовольно заменил раненого наводчика и принялся из трёхдоймовки бить по немецким цепям. Тогда же он был контужен. И вновь — отступление.

Писатель Марк Ефетов вспоминал о гимназии, где какое-то время его учителем был отец Вали Катаева, уже известного благодаря местной прессе “героя сражений”, которыми “мальчишки бредили”. Когда “герой сражений” вернулся с фронта, Марик был счастлив пожать ему руку и с ним поговорить.

В декабре 1916-го Катаев был откомандирован в Одесское пехотное училище (просил Ирен “похадатайствовать” об этом перед отцом). Он понимал, что лишается возможности стать артиллерийским офицером и сделается пехотным прапорщиком, но война замучила, требовалась передышка.

7 декабря его приняли на сокращённый четырёхмесячный курс. О заставшей в училище Февральской революции — “Барабан” с подзаголовком “Записки юнкера, революционный рассказ”*. Это же училище в 1917-м столь же ускоренным выпуском закончил Лев Славин, через несколько лет вошедший в одесский “Коллектив поэтов”, а впоследствии — советский драматург и сценарист, всю жизнь друживший с Катаевым.

* Опубликовано в журнале “Весь мир” в августе 1917-го.

Описывая находящуюся революцию, Катаев говорил: “Было сумбурно и весело”. Начальник училища собрал их и прочёл два манифеста — об отречении Николая и Михаила. “Мы были так взволнованы, что никто не спал. Офицеры не знали, как им быть”. Мгновенная перемена произошла со вчерашними верными слугами престола, которые стали всех называть “товарищи”. И вот — Валя с барабаном шагает впереди батальона: “...мы влились в бесконечный поток красных флагов, лиц, автомобилей, солнца, тающего снега, мальчишек”. Он был опьянен до головокружения уличным шествием, словно языческим хороводом, и тогда же написал “Сонет свободе” в одесском журнале “Бомба”:

*Идти — и чувствовать, что за тобой народ,
Что каждый — друг и преданный товарищ,
Что мы идём сквозь чад и дым пожарниц
К чему-то тихому и светлому вперёд.
Идём вперёд, вперёд. И “Марсельеза”
Гремит в ушах, как вольный лязг железа.*

Но он же вскоре в той же “Бомбе” пародировал изготовление “революционного рассказа” (напророчив себе то, чему придётся отдавать дань почти всю жизнь):

*В 140 строчек “баррикад”
Влить строчек 10 “Марсельезы”.
Взболтать. Прибавить “грустный взгляд”,
По вкусу “грохот ми ральезы”*,*

*15 строчек про “неё” —
Курсистку, 8 — про студента,
13 строчек — про “него”,
“Свободного интеллигента”.*

*Затем “толпу”, “плакаты”, “мглу”
В “победу над врагом” вмешайте,
На керосинку!.. — И к столу
В горячем виде подавайте!*

В день Февральской революции в Одессе произошли оползни — Катаев вспоминал, что единственным повреждённым зданием было их училище: трещина расколола бюст государя императора.

1 апреля 1917 года “отправился по назначению”, то есть вновь на войну. Опять на “румфронт”.

Постоянные перемещения: 9 апреля прибыл из штаба Одесского военного округа и зачислен в списки 46-го пехотного запасного полка младшим офицером 3-й роты, 6 июня назначен командиром очередной № 196 роты пополнения и убыл с ней в распоряжение командира 5-го запасного полка...

Дальнейшее не напечатано на машинке, а уже вписано от руки...

28 июня 1917 года прибыл и зачислен в списки 57 пехотного Модлинского полка младшим офицером в 7 роту. 11 июля 1917 года ранен. Его ранило в предгорье Карпат в “керенском” наступлении — последнем для России в Первой мировой. “Через три-четыре часа после начала сражения это был совершенный ад. Мне повезло, ранило одним из первых. Я был офицером связи по координации пехотной и артиллерийской деятельности. Дивизия понесла страшные потери”.

Сначала он потерял сознание от взрыва и, очнувшись, решил, что пронесло, но потом увидел почерневший от крови карман бриджей. Расстегнувшись, ужаснулся виду своей пробитой осколком ляжки и обилию крови...

А вот стихи того же 1917-го под названием “Ранение”:

* То есть пулемёта.

*От взрыва пахнет жжёным гребнем.
Лежу в крови. К земле приник.
Протяжно за далёким гребнем
Несётся стоголосый крик.*

*Несут. И вдалеке от боя
Уж я предчувствую вдали
Тебя, и небо голубое,
И в тихом море корабли.*

“Я неоднократно видел след этого ранения, — вспоминает его сын. — Две давно уже заживших, но навсегда оставшихся глубокими “вмятины” от влетевшего и вылетевшего осколка в верхней части правого бедра в опасной близости от детородного органа. Рассказывая о своём ранении и показывая его, отец вовсе не драматизировал ситуацию, то есть относился к происшедшему с полным спокойствием, словно бы верил в свою неуязвимость”.

Внучка Катаева Тина рассказала мне, что в 60-м в Париже по настоянию жены Эстер он дал руку погадать турчанке. Та, к их удивлению, сразу упомянула ранение, в точности указав ту треть бедра, которую прошил осколок, и добавила, что видит на его груди золотую звезду. До Героя Соцтруда оставались ещё долгие годы... По словам Тины, когда дед это пересказывал, у него было лукаво-задумчивое и даже блудливое лицо.

Здесь же приведем ещё одно предсказание. В 1955-м в Шанхае на рынке “Храм мэра города” он вытянул у старой китайки гадательную палочку, к которой прилагалась свёрнутая бумажка, где было написано: “Феникс поёт перед солнцем. Императрица не обращает внимания. Трудно изменить волю императрицы, но имя ваше останется в веках”.

“Керенское” наступление, поначалу успешное, захлебнулось из-за массового нежелания воевать. Возвращаясь с фронта, Катаев наблюдал разложение и бунт солдат. Он отмечал работу “солдатского телеграфа”, передававшего недовольство войной и властью. В “Юношеском романе” другой вольноопределяющийся чеканит по поводу настроений серошинельных “мужиков”: “Е...ли они Государственную Думу!” (интересно, что слово с точками стоит и в советском издании, этому писателю было позволено больше других. К примеру — писать о “нимфетках”, отсылая к “Лолите”, в “Алмазном венце”).

В повести “Зимний ветер” Петю Бачея, в котором хорошо узнаваем автор, после ранения (совпадающего с катаевским) на станции Яссы чуть не расстреляли корниловцы. Он бросился из лазарета к коменданту, требуя поскорее отправить в тыл, чем вызвал у того бешенство, да ещё и сильно прокричал в толпе солдат: “Нас почему-то держат здесь, и мы, того и гляди, попадём к немцам в плен”. Ночью Бачея арестовали, заперли, но на рассвете толпа солдат освободила своих товарищей, а заодно и его.

На мой вопрос, действительно ли у Катаева случился конфликт с военным начальством, и он попал в переделку, его сын Павел ответил: “В данном случае почти уверен, что что-то было, — запомнил ощущение большой опасности, может быть, смертельной”.

К тому времени Катаеву осточертело воевать, а за шумную “антивоенную” речь и в самом деле могли “коцнуть”.

Но вполне вероятно, что он едва избежал не корниловской расправы, а солдатского самосуда, ведь, как сказано в другом месте: “Всякий раз, когда Пете приходилось пробираться сквозь толпу среди настороженных, пронзительных солдатских глаз, которые с грубым недоверием провожали не по времени нарядного офицера, он чувствовал себя хуже, чем если бы ему пришлось идти через весь город голым”, а возлюбленная героя сообщает ему о своём отце-генерале: “Полное разложение. Солдатня совсем избесилась... Вытащили из вагона и чуть не растерзали. Он насильно вырвался”.

В 1942 году по дороге в эвакуацию Катаев со свойственной ему откровенностью и показной самоиронией рассказал попутчику — литературоведу Валерию Кирпотину — о том, как пытался спастись во время Первой мировой (нашёл время для рассказа!).

“Хоть бы заболеть”, — постоянно тенькало у него в голове. И вот холдной предосенней ночью он решил искупаться в ручье. Долго купался и лежал в студёной воде. И хоть бы что — на следующий день чувствовал себя необыкновенно окрепшим и бодрым”.

Пересказ Кирпотина перекликается с эпизодом из “Юношеского романа”, когда двойник автора, Саша Пчёлкин, леденит себя в ночной воде лимана, надеясь на воспаление лёгких: “Это был не столько страх физического уничтожения, страх телесной смерти, а и страх смерти души”.

Раненный в бедро, Катаев вновь оказался в Одессе, где пролежал в госпитале до ноября. Там он не забывал писать, например, любовные “Три сонета” Ирен Алексинской и рассказ о фронте “Ночью”, отправленный в журнал “Весь мир”, но запрещённый цензурой Временного правительства: “Красота, красота!.. Неужели же и эту дрянь, вот всё это — эти трупы, и вши, и грязь, и мерзость — через сто лет какой-нибудь Чайковский превратит в чудесную симфонию и назовет её как-нибудь там... “Четырнадцатый год”... что ли! Какая ложь!”

Ему был присвоен чин подпоручика, но получить погоны он не успел и был демобилизован прапорщиком.

После ранения приказом по IV армии от 5 сентября 1917 года № 5247 он был награждён орденом Святой Анны IV степени (“Анна за храбрость” — пашка с красной лентой темляка, которую называли “клоквой”) и обрёл личное дворянство, не передающееся по наследству.

Двух солдатских Георгиевских крестов, которые он упоминал в “Послужном списке”, нет, но не факт, что Катаев присочинил (Анна всяко намного круче): нарастала смута, что-то вписывали от руки, что-то из бумаг могло утратиться, наконец, представить к Георгию — не всегда означало его дать...

Спустя шестьдесят лет Катаев вспоминал ощущение “измены, трусости и обмана” поздней осенью 1917-го: “Надо было бы радоваться, что война для меня кончилась так благополучно: всего одна контузия, пустяковое отравление газами и ранение в бедро. Тем не менее, мне было грустно. Я нанял извозчика и поехал в город, где долго сидел в кафе за чашкой кофе, а потом на углу Дерибасовской и Екатерининской, возле дома Вагнера купил громадный букет гвоздик, сырых от тумана, и отправил его с посыльным в красной шапке к Ирэн. Потом я стал как безумный тратить свои последние военные деньги...” В те дни, когда большевики брали Зимний, а вместе с ним и всю власть, и вели переговоры с Германией “о мире”, Катаев чувствовал “унижение от демобилизации и горечь военного поражения”. “Даже любовь меня не радовала”, — добавлял он.

Осенью 17-го он стрелялся на дуэли.

По утверждению одесского исследователя Феликса Каменецкого, это была последняя в городе дуэль, а вызвал на неё Катаева поэт (будущий эмигрант) Александр Соколовский за “оскорбление женщины”.

Стрелялись на пистолетах ранним утром на Ланжероне. До первой крови. Якобы третьим выстрелом Катаев был легко ранен. И дуэлянты отправились обмывать событие. Следов ранения, если оно и было, не осталось, по крайней мере, сын Катаева ничего такого не видел. Но вот следы самой дуэли есть в разных текстах. У поэта Леонида Ласка из объединения “Бронзовый гонг” (враждебного катаевской “Зелёной лампе”) в их журнале “Бомба” вышла серия эпиграмм “Бескровная дуэль”, где к Катаеву он обращался так: “...Плети венки стихов твоей Прекрасной Даме, / Выдумывай бескровные дуэли для рекламы...” А в беллетризованных мемуарах “Чёрный погон” одессита Георгия Шенгели читаем: “Сашок Красовский в прошлом году с Оллетаевым нарочно дуэль сочинили, чтобы прославиться. И хотя и стрелялись — всё равно никто не поверил”.

Павел Катаев рассказывает: “Всё было устроено как перформанс (выражаясь по-теперешнему), так я понял со слов отца”.

А может быть, Катаев просто не мог потерять лицо и отвергнуть вызов, брошенный Соколовским?

Игра игрой, но, как знать, уклонись пуля на миллиметр, вся история жизни Валентина Петровича обрушилась бы тогда, осенью 17-го на Ланжероне, где он лежал бы неживой у самого Чёрного моря.

(Продолжение следует)